

The background of the cover is a watercolor illustration. It features several bright red, star-shaped flowers with long, thin stems. The flowers are scattered across the frame, with some in sharp focus and others blurred. The foliage is rendered in various shades of green, from dark forest green to light, yellowish-green, creating a sense of depth and texture. The overall style is soft and artistic, typical of watercolor painting.

ВСЕВОЛОД ГАРШИН
КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

Всеволод Михайлович Гаршин

Красный цветок (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173142
В.М.Гаршин Красный цветок: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-27370-6*

Аннотация

Для произведений Гаршина характерно всепроникающее чувство гуманности, его проза – как натянутая струна, как оголенный нерв, часто неровная, но всегда искренняя, лаконичная, эмоционально напряженная. Несмотря на незначительное по объему литературное наследие, В.М.Гаршин занял достойное место в ряду классиков русской прозы.

В сборник вошли рассказы и очерки писателя, стихотворения и цикл статей о живописи.

Содержание

Рассказы	5
Четыре дня	5
Происшествие	23
I	23
II	30
III	34
IV	41
Трус	48
Встреча	81
Художники	109
I	109
II	112
III	116
IV	118
V	121
VI	122
VII	126
VIII	127
IX	131
X	132
XI	135
Ночь	136
I	136

II	141
III	147
IV	150
Конец ознакомительного фрагмента.	152

Всеволод Михайлович Гаршин Красный цветок (сборник)

Рассказы

Четыре дня

Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрелы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидоров, молоденький солдатик первой роты («как он попал в нашу цепь?» – мелькнуло у меня в голове), вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Из рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... *его*. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», – подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиною к густому кусту боярышника. Мож-

но было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали «ура!», падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из лесу, на поляне. Вдруг «ура» раздалось громче, и мы сразу двинулись вперед. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Еще страннее было то, что вдруг все исчезло; все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего, а видел только что-то синее; должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло.

Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы – вот весь мой мир, И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твердым, должно быть веткою, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу, шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы. Больше нет ничего. Наконец я делаю усилие, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени.

Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет.

Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах.

Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит. И правая и левая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль, как зубная: постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что ж это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать бывшее со мной, сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упал (этого, впрочем, я не помню, но помню, как все побежали вперед, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами) – и упал на полянке, наверху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. «Ребята, мы будем там!» – закричал он нам своим звонким голосом. И мы были там: значит, мы не разбиты... Почему же меня не подобрали? Ведь здесь, на поляне, открытое место, все видно. Ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видел травку и мура-

вья, ползущего вниз головою, я, пытаюсь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звезды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться, наконец со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь.

Надо мною – клочок черно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких, вокруг что-то темное, высокое. Это – кусты. Я в кустах: меня не нашли!

Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове.

Однако как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненный, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелиться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А быть может, у меня тогда была только одна рана и другая пуля доконала меня уже здесь.

Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома!..

Какие-то странные звуки доходят до меня... Как будто бы кто-то стонет. Да, это – стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же забытый, с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет, стоны так близко, а около меня, кажется, никого нет... Боже мой, да ведь это – я сам! Тихие, жалобные стоны; неужели мне в самом деле так больно? Должно быть.

Только я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман, свинец. Лучше лечь и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно.

В ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагах в пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниция. Это – труп или раненый.

Все равно, я лягу...

Нет, не может быть! Наши не ушли. Они здесь, они выбили турок и остались на этой позиции. Отчего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они, наверное, здесь.

– Помогите!.. Помогите!

Дикие, безумные хриплые вопли вырываются из моей груди, и нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе. Все остальное молчит. Только сверчки трещат по-прежнему неугомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом.

Если бы *он* был раненый, он очнулся бы от такого крика. Это труп. Наш или турок? Ах, боже мой! Будто не все равно! И сон опускается на мои воспаленные глаза.

* * *

Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся.

Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет: если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки, пройдут другие, я умру. Все равно. Лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга! Но ее ничем не удержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове. Впрочем, все это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то; убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут; просто скажут: убит один. Один рядовой, как та одна собачонка...

Целая картина ярко вспыхивает в моем воображении. Это было давно; впрочем, всё, вся моя жизнь, *та* жизнь, когда я не лежал еще здесь с перебитыми ногами, была так давно... Я шел по улице, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка; вагон конно-железной дороги переехал ее. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унес. Толпа разошлась.

Унесет ли меня кто-нибудь? Нет, лежи и умирай. А как хороша жизнь!.. В тот день (когда случилось несчастье с собачкой) я был счастлив. Я шел в каком-то опьянении, да и было от чего. Вы, воспоминания, не мучьте меня, оставьте

меня! Былое счастье, настоящие муки... пусть бы остались одни мученья, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать. Ах, тоска, тоска! Ты хуже ран.

Однако становится жарко. Солнце жжет. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это – турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это тот самый...

Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?

Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец?..

А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... Штык вошел ему прямо в сердце. . . Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. *Это сделал я.*

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять *свою* грудь под пули. И я пошел и подставил.

Ну и что же? Глупец, глупец! А этот несчастный феллах (на нем египетский мундир) – он виноват еще меньше.

Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным, трудным походом от Стамбула до Рущука. Мы напали, он защищался. Но, видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, всё лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце.

Чем же он виноват?

И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда! Кто знает, что значит это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах, если бы кто-нибудь пришел!

Боже мой! Да у него в этой огромной фляге, наверно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будет стоить! Все равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажени две, но для меня это больше – не больше, а хуже – десятков верст. Все-таки нужно ползти. Горло горит, жжет, как огнем. Да и умрешь без

воды скорее. Все-таки, может быть...

И я ползу. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а все-таки ползу. Наконец вот и он. Вот фляга... в ней есть вода – и как много! Кажется, больше полфляги. О! Воды мне хватит надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва!.. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах.

* * *

Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и притом ее было много. Я проживу еще несколько дней. Помнится, в «Физиологии обыденной жизни» сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там еще рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил.

Ну, и что же? Если я и проживу еще дней пять-шесть, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались. Дороги близко нет. Все равно – умирать. Только вместо трехдневной агонии я сделал себе недельную. Не лучше ли кончить? Около моего соседа лежит его ружье, отличное английское произведение. Стоит только протянуть руку; потом – один миг, и конец. Патроны валяются тут же, кучею. Он не успел

выпустить всех.

Так кончать или подать? Чего? Избавления? Смерти? Ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног? Лучше уж самому...

Нет, не нужно падать духом; буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасен. Быть может, кости не тронуты; меня вылечат. Я увижу родину, мать, Машу...

Господи, не дай им узнать всю правду! Пусть думают, что я убит наповал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествие к соседу меня совершенно измучило. А тут еще этот ужасный запах. Как он почернел... что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы оттащить. Отдохну и поползу на старое место; кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние.

Я лежу в совершенном изнеможении. Солнце жжет мне лицо и руки. Накрыться нечем. Хоть бы ночь поскорее; это, кажется, будет вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

* * *

Я спал долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все по-прежнему: раны болят, сосед лежит, такой же огром-

ный и неподвижный.

Я не могу не думать о нем. Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках – только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь, полезное для военных целей, кроме этого убийства?

Убийство, убийца... И кто же? Я!

Когда я затеял идти драться, мать и Маша отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослепленный идеею, я не видел этих слез. Я не понимал (теперь я понял), что я делал с близкими мне существами.

Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь.

А какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых! «Ну, юродивый! Лезет, сам не зная чего!» Как могли они говорить это? Как вяжутся такие слова с *их* представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах? Ведь в *их* глазах я представлял все эти доблести. И тем не менее – я «юродивый».

И вот я еду в Кишинев; на меня навьючивают ранец и всякие военные принадлежности. И я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, «сознательные», проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, или даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сей-

час же бросили бы и ушли – только бы позволили.

Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звезды померкли. Темно-синее небо посерело, подернулось нежными перистыми облачками; серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего... Как это назвать? Жизнь? Агония?

Третий... Сколько их еще осталось? Во всяком случае, немного... Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером.

* * *

Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет, кажется, жарко. Мой сосед – что станется с тобой? Ты и теперь ужасен.

Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою. Что сделает с ним солнце сегодня?

Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отполз-

ти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться; но – передвинуть свое тяжелое, неподвижное тело? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час.

Все утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я отполз-таки сажени на две и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается; все внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздух так и плывет на меня.

Я прихожу в отчаяние и плачу...

* * *

Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспмятстве. Вдруг... Не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет. Да, это – говор. Конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят

раненые ноги... Хорошо, если еще только это; но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это – наши? О проклятые кусты! Зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них; только в одном месте будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, в лощину. Там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеек как мостик. Они, наверно, поедут через нее. Говор умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят: у меня и слух ослабел. Господи! Если это наши... Я закричу им; они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня; я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он несколько не ослабел.

И вдруг на переходе через ручей показываются казаки! Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди, на превосходной лошади, чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал:

– Рысью, ма-арш!

– Стойте, стойте, бога ради! Помогите, помогите, братцы! – кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья, – и меня не слышат!

О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мною фляжки течет вода,

моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полужакрытыми глазами. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим, чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я, – вот ее изображение».

А солнце жжет и печет по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю. Жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня! Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучили бы час, два, а тут я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страда-

ние людям войну!

Но вы с Машей, должно быть, и не услышите о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь! Ах, как тяжело, горько! Под сердце подходит что-то...

Опять эта беленькая собачка! Дворник не пожалел ее, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. И мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра – четвертый, потом пятый, шестой... Смерть, где ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходит и не берет меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтоб освежить воспаленное горло, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся! Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда – моя очередь. И я буду таким же.

Проходит день, проходит ночь. Все то же. Наступает утро. Все то же. Проходит еще день...

Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. «Вот ты умрешь, умрешь, умрешь!» – шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» – отвечают кусты с другой стороны.

– Да тут их и не увидишь! – громко раздается около меня.

Я вздрагиваю и разом прихожу в себя. Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

– Лопаты! – кричит он. – Тут еще двое, наш да ихний.

«Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив!» – хочу я закричать, но только слабый стон выходит из запекшихся губ.

– Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив! Да доктора зови!

* * *

Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то. Потом все исчезает.

Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле...

– Сто-о-ой! 0-опуска-а-й! Санитары, четвертая смена, марш! За носилки! Берись, подыма-ай!

Это командует Петр Иванович, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата.

– Петр Иванович! – шепчу я.

– Что, голубчик?

Петр Иванович наклоняется надо мною.

– Петр Иванович, что вам сказал доктор? Скоро я умру?

– Что вы, Иванов, полноте! Не умрете вы. Ведь у вас все

кости целы. Этакий счастливец! Ни кости, ни артерии. Да как вы выжили эти четыре с половиною суток? Что вы ели?

– Ничего.

– А пили?

– У турка взял флягу. Петр Иванович, я не могу говорить теперь. После.

– Ну, господь с вами, голубчик, спите себе.

Снова сон, забытье...

* * *

Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сестры милосердия, и, кроме них, я вижу еще знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне:

– Ну, счастлив ваш бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну, да ведь это пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано.

1877 г.

Происшествие

I

Как случилось, что я, почти два года ни о чем не думавшая, начала думать, – не могу понять. Не мог же, в самом деле, натолкнуть меня на эти думы тот господин. Потому что эти господа так часто встречаются, что я уже привыкла к их проповедям.

Да, почти всякий из них, кроме совершенно привыкших или очень умных, непременно заговаривает об этих не нужных ни ему, ни даже мне вещах. Сперва спросит, как меня зовут, сколько мне лет, потом, большей частью с довольно печальным видом, начнет говорить о том, что «нельзя ли как-нибудь уйти от подобной жизни?». Сначала меня мучили такие расспросы, но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь.

Но вот уже две недели, всякий раз, когда я невесела, то есть не пьяна (потому что разве есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной?), и когда я остаюсь совсем одна, я начинаю думать. И не хотела бы, да не могу: не отвязываются эти тяжелые думы; одно средство забыть – уйти куда-нибудь, где много народа, где пьянствуют, безобразничают. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путают-

ся, ничего не помнишь... Тогда – легче. Отчего прежде этого не бывало, с самого того дня, как я махнула рукой на все? Больше двух лет я живу здесь, в этой скверной комнате, все время провожу одинаково, также бываю в разных Эльдорадо и Пале-де-Кристалль, и все время если и не было весело, так хоть не думалось о том, что невесело; а теперь вот – совсем, совсем другое.

Как это скучно и глупо! Ведь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу. В жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вон и в «Стрекозе» (которую приносит мне один знакомый довольно часто и уж непременно, когда в ней появляется что-нибудь «пикантное»), и в «Стрекозе» я видела рисунок: посередине маленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее два ряда фигур. Вверх от девочки идут: маленькая гимназистка или пансионерка, потом скромная молодая девушка, мать семейства и, наконец, старушка, почтенная такая, а в другую сторону, внизу – девочка с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я – вот как теперь; вторая – улицу метлой метет, а третья – та уж совсем отвратительная, гнусная старуха. Но только уж я не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потом в Екатериновку. На это меня хватит, не испугаюсь.

Какой странный, однако, этот художник! Почему так-таки непременно, если пансионерка или гимназистка, так уже и скромная девица, почтенная мать и бабушка? А я-то? Слава

богу, ведь и я могу блеснуть где-нибудь на Невском французским или немецким языком! И рисовать цветы, я думаю, еще не забыла, и «Calipso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse»¹ помню. И Пушкина помню, и Лермонтова, и все, все: и экзамены, и то роковое, ужасное время, когда я осталась душой, набитой душой, одна у добрых родных, уверявших, что они «приютили сироту», и пылкие пошлые речи того фата, и как я сдуру обрадовалась, и всю ложь и грязь там, в «чистом обществе», откуда я попала сюда, где теперь одурманиваюсь водкой... Да, теперь я стала пить даже и водку. «Horreur!»² – закричала бы кузина Ольга Николаевна.

Да и в самом деле разве не horreur? Но виновата ли я сама в этом деле? Если бы мне, семнадцатилетней девчонке, с восьми лет сидевшей в четырех стенах и видевшей только таких же девочек, как и я сама, да еще разных маманов, попался не такой, как тот, с прическою à la Caroule, любезный мой друг, а другой, хороший человек, – то, пожалуй, тогда было бы и не то...

Глупая мысль! Разве есть они, хорошие люди, разве я их видела и после и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть? И могу ли я верить, что они есть, когда тут и мужья от молодых жен, и дети (почти дети – четырнадцати-пятнадцати лет) из «хоро-

¹ Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса (*фр.*).

² Ужас! (*фр.*)

ших семейств», и старики, лысые, параличные, отжившие?

И, наконец, могу ли я не ненавидеть, не презирать, хотя я сама презираемое и презренное существо, когда я вижу среди них таких людей, как некоторый молодой немчик с вытравленным на руке, повыше локтя, вензелем? Он сам объяснил мне, что это – имя его невесты. «Jetzt aber bist du, meine liebe, allerliebstes Liebchen»,³ – сказал он, смотря на меня масляными глазками, и вдобавок прочел стишки Гейне. И даже с гордостью объяснил мне, что Гейне – великий немецкий поэт, но что у них, у немцев, есть еще выше поэты, Гёте и Шиллер, и что только у гениального и великого немецкого народа могут рождаться такие поэты.

Как мне хотелось вцепиться в его скверную смазливую белобрысую рожу! Но вместо этого я залпом выпила стакан портвейна, которым он меня поил, и забыла все.

* * *

Зачем мне думать о своем будущем, когда я и так знаю его очень хорошо? Зачем мне думать и о прошедшем, когда там нет ничего, что могло бы заменить мою теперешнюю жизнь? Да, это правда. Если бы мне предложили сегодня же вернуться туда, в изящную обстановку, к людям с изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а

³ Но теперь, моя милая, ты мне всех милых милей (нем.).

осталась бы умирать на своем посту.

Да, и у меня свой пост! И я тоже нужна, необходима. Недавно приходил ко мне один юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги. «Это наш философ, наш русский философ», – говорил он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное; вроде того, что мы – «клапаны для общественных страстей...». И слова гадкие, и философ, должно быть, скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти «клапаны».

Впрочем, недавно и мне пришла в голову та же мысль. Я была у мирового судьи, который приговорил меня к пятнадцати рублям штрафа за неприличное поведение в общественном месте.

В ту самую минуту, когда он читал решение, причем все встали, я подумала вот что: «За что вся эта публика так презрительно смотрит на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность; но ведь это – должность! Этот судья тоже занимает должность. И я думаю, что мы оба...»

Я ничего не думаю, я чувствую, что пью, что ничего не помню и путаюсь. В моей голове все перемешалось: и та скверная зала, где я сегодня вечером буду бесстыдно плясать, и Литовский замок, и эта скверная комната, в которой можно жить только пьяной. В висках у меня стучит, в ушах звон, в голове все куда-то скачет и несется, и я сама несусь

куда-то. Мне хочется остановиться, удержаться за что-нибудь, хоть за соломинку, но у меня нет и соломинки.

Лгу я, есть она у меня! И даже не соломинка, а, быть может, что-то понадежнее, но я сама до того опустила, что не хочу протянуть руку, чтобы схватиться за опору.

* * *

Кажется, это случилось в конце августа. Помню, тогда был такой славный осенний вечер. Я гуляла в Летнем саду и там познакомилась с этой «опорой». Этот человек не представлял ничего особенного, кроме разве какой-то добродушной болтливости. Он рассказал мне чуть не о всех своих делах и знакомых. Ему было двадцать пять лет, звали его Иваном Ивановичем. Собою он был ни дурен, ни хорош. Он болтал со мною, как с каким-нибудь знакомым, рассказывал даже анекдоты о своем начальнике и объяснил мне, кто у них в департаменте на виду.

Он ушел, и я забыла о нем. Через месяц он, однако, явился. И явился пасмурный, печальный, похудевший. Когда он вошел, я даже немного испугалась незнакомого нахмуренного лица.

– Вы меня помните?

В эту минуту я вспомнила его и сказала, что помню.

Он покраснел.

– Я потому думал, что вы не помните, что ведь много...

Разговор пересекся. Мы сидели на диване; я в одном углу, он в другом, как будто в первый раз выехал с визитами, прямой, вытянутый, даже цилиндр в руках держал. Сидели мы довольно долго; наконец он приподнялся и поклонился.

– Так до свиданья-с, Надежда Николаевна, – произнес он со вздохом.

– Как вы узнали мое имя? – закричала я, вспыхнув. Мое ходячее имя было не Надежда Николаевна, а Евгения.

Я крикнула на Ивана Ивановича так сердито, что он даже испугался.

– Ведь я ничего дурного, Надежда Николаевна... Я ни одному человеку... А я знаком с Петром Васильевичем, участковым, так он мне рассказал о вас все, как было. Я хотел сказать вам: Евгения, да язык не послушался, и я ваше настоящее имя произнес.

– Да вы скажите, зачем вы пришли ко мне?

Он молчал и печально смотрел мне в глаза.

– Для чего? – продолжала я, все разгораясь. – Какой интерес я представляю для вас? Нет, вы лучше не ходите ко мне; знакомства я с вами вести не буду, потому что у меня нет знакомых. Я знаю, зачем вы пришли ко мне! Вас заинтересовал рассказ этого полицейского. Вы подумали: вот редкость – образованная девушка в какую жизнь попала... Вы вздумали спасти меня? Подите от меня, мне ничего не нужно! Оставьте меня лучше издыхать одну, чем...

Тут я взглянула на его лицо и остановилась. Я видела, что

била его каждым словом. Он не говорил ничего, но один вид его заставил меня замолчать.

– До свиданья, Надежда Николаевна, – сказал он. – Очень жалею, что огорчил вас. И себя тоже. До свиданья.

Он протянул мне руку (я не могла не дать ему своей) и вышел медленными шагами. Я слышала, как он спускался по лестнице, и видела в окно, как он, согнув шею, перешел через двор какою-то медленною и качающеюся походкою. У ворот он оглянулся, посмотрел на мои окна и исчез.

И вот этот-то человек может быть моей «опорой». Стоит мне только заикнуться, и я сделаюсь законной женой. Законною женою бедного, но благородного человека, и даже сделаюсь бедною, но благородною родительницею, если только Господь во гневе своем еще пошлет мне ребенка.

II

Сегодня Евсей Евееич говорит мне:

– Вы послушайте меня, Иван Иваныч, что вам я, старик, скажу. Вы, батюшка, не дельно вести себя стали: смотрите, как бы до начальства не дошло!

Он еще долго говорил (стараясь говорить о самой сути дела обиняками) о службе, чинопочитании, о нашем генерале, обо мне и, наконец, начал добираться и до моего несчастья. Мы сидели в трактире, куда Надежда Николаевна часто заходит со своими знакомыми.

Евсей Евсеич все давно заметил и давно уже вытянул от меня многие подробности. Не мог я удержать глупого языка, разболтал все, да притом еще чуть не разревелся.

Евсей Евсеич рассердился.

– Ах вы, бабень, бабень вы чувствительный! Молодой человек, хороший чиновник, из-за дряни какую историю развел! Да плюньте вы на нее! Да что вам до нее за дело? Добро бы девица благопристойная, а то, с позволенья сказать...

Евсей Евсеич даже плюнул.

После этого случая он часто возвращался к предмету своих огорчений (Евсей Евсеич искренно огорчается за меня), но уже не ругался, потому что заметил, что это мне неприятно. Впрочем, он мог сдерживать себя недолго и хотя сначала старался заговаривать издалека, но, в конце концов, всегда приходил к одному заключению, что надо бросить, «наплевать» – и тому подобное.

Я и сам сочувствую, строго говоря, тому, что он твердит мне каждый день. Сколько раз и я думал тоже, что нужно бросить и наплевать! Да, сколько раз! И столько же раз после таких мыслей выходил из дому, и ноги несли меня в ту улицу... И вот она идет, нарумяненная, с насурмленными бровями, в бархатной шубке и щегольской котиковой шапочке – прямо на меня; и я сворачиваю на другую сторону, чтобы она не заметила моих преследований. Она доходит до угла и поворачивает назад, нагло и гордо смотря на прохожих и иногда заговаривая с ними; я слежу за нею с другой стороны

улицы, стараясь не терять ее из вида, и безнадежно смотрю на ее маленькую фигурку, пока какой-нибудь... мерзавец не подойдет к ней, не заговорит. Она отвечает ему, она поворачивается и идет с ним... И я за ними. Если бы дорога была утыкана острыми гвоздями, мне не было бы больнее. Я иду, не слыша ничего и не видя ничего, кроме двух фигур...

Я не смотрю себе под ноги и около себя и иду, выпуча глаза, натываясь на прохожих, получая замечания, ругательства и толчки. Один раз я опрокинул ребенка...

Они поворачивают направо и налево, входят в калитку; сначала она, потом он: почти всегда из какой-то странной вежливости он дает ей дорогу. Потом и я вхожу. Против двух окон, хорошо мне знакомых, стоит сарай с сеновалом; на сеновал ведет легкая железная лесенка, кончающаяся площадкою без перил. И сижу я на этой площадке и смотрю на спущенные белые занавески...

Сегодня я тоже стоял на своем странном посту, хотя на дворе порядочный мороз. Озяб я ужасно, ног не слышал под собою, а все-таки стоял. Пар шел от моего лица, усы и борода обмерзли, ноги начали цепенеть. По двору ходили люди, но не замечали меня и, громко разговаривая, проходили мимо. С улицы доносилась пьяная песня (веселая эта улица!), какая-то перебранка, стук скребков о панель, которую чистили дворники. Все эти звуки шумели в моих ушах, но я не обращал на них внимания, как и на мороз, щипавший лицо, и на озябшие ноги. Все это: и звуки, и ноги, и мороз – бы-

ло как будто далеко-далеко от меня. Ноги ныли сильно, но внутри меня что-то ныло еще сильнее. У меня нет сил пойти к ней. Знает ли она, что есть человек, который счел бы за счастье сидеть с нею в одной комнате и, не касаясь даже руки ее, только смотреть ей в глаза? Что есть человек, который кинется в огонь, если это поможет ей выйти из ада, если бы она захотела выйти? Но она не хочет... И я до сих пор не знаю, почему она не хочет. Ведь я не могу поверить, что она испорчена до мозга костей; не могу я поверить этому, потому что знаю, что это не так, потому что знаю ее, потому что люблю, люблю ее...

* * *

Лакей подошел к Ивану Иванычу, который положил локти на стол и на локти – лицо и изредка вздрагивал, и стал трогать его за плечо:

– Господин Никитин! Так нельзя-с... При всех... Хозяин забранит. Господин Никитин! Здесь нельзя, чтоб таким родом. Извольте вставать!

Иван Иваныч поднял голову и посмотрел на слугу. Он все не был пьян, и слуга понял это, как только увидел его печальное лицо.

– Это, Семен, ничего. Это так. Ты вот дай мне графинчик очищенной.

– С чем прикажете?

– С чем? С рюмкой. И побольше, чтобы не графинчик, а графин. Вот тебе, получи за все и еще возьми два двугривенных. Через час отправишь меня домой на извозчике. Ты ведь знаешь, где я живу?

– Знаю-с... Только, сударь, как оно это?..

Он, очевидно, недоумевал: подобный случай представился ему в первый раз за все время его долголетней практики.

– Нет, постой, я лучше сам.

Иван Иванович вышел в переднюю, оделся и, выйдя на улицу, завернул в торговое заведение, на низком окне которого ярко блестели освещенные газом разноцветные ярлыки бутылок, аккуратно и со вкусом уложенных в подстилку из мха. Через минуту он вышел, неся в руках две бутылки, дошел до своей квартиры, которую нанимал в меблированных комнатах Цукерберг, и запер за собою дверь на ключ.

III

Я опять забылась и опять проснулась. Три недели ежедневного шатанья! Как я только выношу это! Сегодня у меня болит голова, кости, все тело. Тоска, скука, бесцельные и мучительные рассуждения. Хоть бы пришел кто-нибудь!

* * *

Как будто в ответ на ее мысль, в передней зазвенел зво-

нок. «Дома Евгения?» – «Дома, пожалуйста», – ответил голос кухарки. Неровные, торопливые шаги простучали по коридору, дверь распахнулась, и в ней появился Иван Иванович.

Он вовсе не был похож на того робкого и застенчивого человека, который приходил сюда же два месяца назад. Шляпа набекрень, цветной галстук, уверенный, дерзкий взгляд. И при этом шатающаяся походка и сильный винный запах.

Надежда Николаевна вскочила с места.

– Здравствуй! – начал он. – Я к тебе пришел.

И он сел на стул у двери, не сняв шляпы и развалясь. Она молчала, молчал и он. Если бы он не был пьян, она бы нашла, что сказать, но теперь она потерялась. Пока она думала, что ей делать, он опять заговорил.

– Ннда! Вот я и пришел... Имею право! – вдруг бешено закричал он и вытянулся во весь рост.

Шляпа упала с его головы, черные волосы в беспорядке падали на лицо, глаза сверкали. Вся его фигура выражала такое бешенство, что Надежда Николаевна испугалась на минуту.

Она попробовала говорить с ним ласково:

– Слушайте, Иван Иванович, я очень буду рада вашему приходу, только идите теперь домой. Вы выпили лишнее. Будьте так добры, голубчик, идите домой. Приходите, когда будете здоровы.

– Струсил! – пробормотал будто про себя Иван Иванович, опять усаживаясь на стул. – Укротилась! Да за что ты ме-

ня гонишь? – опять отчаянно завопил он. – За что? Пить-то ведь я из-за тебя начал, ведь трезвый был! Чем ты тянешь меня к себе, скажи ты мне?

Он плакал. Пьяные слезы душили его, текли по лицу и попадали в рот, искривленный рыданиями. Он едва мог говорить.

– Ведь другая за счастье бы сочла избавиться от этого ада. Работал бы я, как вол. Жила бы ты беззаботно, спокойная, честная. Говори, чем я заслужил от тебя ненависть?

Надежда Николаевна молчала.

– Что ты молчишь? – закричал он. – Говори! Говори, что хочешь, только скажи что-нибудь. Пьян я – это верно... Не пьяный не пришел бы сюда. Знаешь ты, как я боюсь тебя, когда я в здравом уме? Ведь ты меня в узелок связать можешь. Скажешь: украдь – украду. Скажешь: убей – убью. Знаешь ли ты это? Наверно, знаешь. Ты умная, ты все видишь. Если не знаешь... Надя, родная моя, пожалей меня!

И он на коленях ползал перед нею по полу. А она неподвижно стояла у стены, облокотись на нее закинутою головою и заложив руки за спину. Ее взор был устремлен на какую-то одну точку пространства. Видела ли она что-нибудь, слышала ли что? Что она чувствовала при виде этого человека, валявшегося у нее в ногах и просившего у нее любви? Жалость, презрение? Ей хотелось жалеть его, но она чувствовала, что не может жалеть. Он возбуждал в ней только отвращение. И мог ли возбуждать он иное чувство в этом

жалком виде: пьяный, грязный, униженно молящий?

Он уже несколько дней как бросил ходить на службу. Пил каждый день. Найдя утешение в вине, он стал меньше следить за своею страстью и все сидел дома и пил, собираясь с силами, чтобы пойти к ней и сказать *все*. Что он должен был сказать ей, он и сам не знал. «Скажу все, открою душу», – вот что мелькало в его пьяной голове. Наконец он решился, пришел, начал говорить. Даже сквозь туман похмелья он сознавал, что говорит и делает вещи, вовсе не возбуждающие к нему любви, и все-таки говорил, чувствуя, что с каждым словом все ниже и ниже куда-то падает, все туже и туже затягивая петлю на своей шее.

Он говорил еще долго и бессвязно. Речь становилась все медленнее и медленнее, и наконец его опьяневшие, опухшие веки сомкнулись, и, откинув голову назад на спинку стула, он заснул.

Надежда Николаевна стояла в прежней позе, бесцельно глядя куда-то в потолок и барабаня пальцами по обоям стены.

«Жалко мне его? Нет, не жалко. Что я могу сделать для него? Выйти за него замуж? Да разве я смею? И разве же это не будет такую же продажею? Господи, да нет, это еще хуже!»

Она не знала, почему хуже, но чувствовала это.

«Теперь я по крайней мере откровенна. Меня всякий может ударить. Разве я мало терплю оскорблений? А тогда! Чем я буду лучше? Разве не будет тот же разврат, только не откоро-

венный? Вон он сидит сонный, и голова отвалилась назад. Рот раскрыт, лицо бледное, как у мертвого. Платье на нем выпачканное: должно быть, валялся где-нибудь... Как он тяжело дышит... Иногда даже хрипит... Да, но ведь это пройдет, и он опять будет приличным, скромным. Нет, тут не то! А мне кажется, что этот человек, если я дам ему над собою верх, замучает меня одним воспоминанием... И я не вынесу. Нет, пусть я останусь тем, что есть... Да ведь и недолго уж оставаться».

Она набросила себе на плечи накидку и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Иван Иванович проснулся от стука, посмотрел вокруг себя бессмысленными глазами и, найдя, что на стуле спать неудобно, с трудом добрался до постели, повалился на нее и заснул мертвым сном. Он проснулся с головной болью, но трезвый, уже поздно вечером и, увидя, где он находится, тотчас же убежал.

* * *

Я вышла из дому, сама не зная, куда пойду. Погода была скверная, день пасмурный, темный; мокрый снег падал на лицо и руки. Гораздо лучше было бы сидеть дома; но можно ли мне теперь сидеть там? Он совсем погибает. Что мне делать, чтобы поддержать его? Могу ли я изменить свои отношения к нему? Ах, все в моей душе, вся моя внутренность горит. Я не знаю сама, почему я не хочу воспользоваться слу-

чаем бросить эту ужасную жизнь, освободиться от кошмара. Если бы я вышла за него? Новая жизнь, новые надежды... Разве то чувство жалости, которое я все-таки чувствую к нему, не может перейти в любовь?

Ах, нет! Теперь он готов лизать мои руки, а тогда... тогда он придавит меня ногою и скажет: «А! ты еще сопротивлялась, презренная тварь! Презирала меня!»

Скажет ли он это? Я думаю, что скажет.

Есть у меня одно средство спастись, избавиться – отличное, на которое я уже давно решила и к которому, наверно, в конце концов прибегну, но мне кажется, что теперь еще рано. Слишком я молода, слишком много чувствую в себе жизни. Жить хочется. Хочется дышать, чувствовать, слышать, видеть; хочется иметь возможность хоть изредка взглянуть на небо, на Неву.

Вот и набережная. Громадные здания с одной стороны, а с другой – почерневшая Нева. Скоро тронется лед, река будет голубая. Парк на той стороне зазеленеет. Острова также покроются зеленью. Хоть и петербургская, а все-таки весна.

И вдруг вспомнилась мне моя последняя счастливая весна. Была тогда я девочкой семи лет, жила у отца и матери в деревне, в степи. За мною присматривали мало, и я бегала, где хотела и сколько хотела. Помню, как в начале марта у нас по степным оврагам побежали, зашумели реки талой воды, как потемнела степь, какой удивительный стал воздух, такой сырой и отрадный. Обнажились сперва вершины бугров, за-

зеленела на них травка. Потом и вся степь зазеленела, хоть в оврагах еще лежал умиравший снег. Быстро, в несколько дней, точно из-под земли, совсем готовые, выскочили, выросли кустики пионов, и на них пышные ярко-пурпуровые цветы. Жаворонки начали петь...

Господи, что я сделала такого, что еще при жизни меня следовало бросить в ад? Разве не хуже всякого ада то, что я переживаю?

Каменный спуск ведет прямо к проруби. Что-то потянуло меня спуститься и посмотреть на воду. Но ведь еще рано? Конечно, рано. Я подожду еще.

А все-таки хорошо было бы стать на этот скользкий, мокрый край проруби. Так сама бы скользнула. Только холодно... Одна секунда – и поплывешь под льдом вниз по реке, будешь безумно биться об лед руками, ногами, головою, лицом. Интересно знать, просвечивает ли туда дневной свет?

Я стояла над прорубью неподвижно и долго и уже дошла до того состояния, когда человек ни о чем не думает. Я давно промочила себе ноги, а не двигалась с места. Ветер был не холодный, но пронизывал меня насквозь, так что я вся дрожала, а все-таки стояла. И не знаю, сколько бы времени продолжалось это оцепенение, если бы с набережной кто-то не закричал мне:

– Эй, мадам! Сударыня!

Я не обертывалась.

– Сударыня, пожалуйста на панель!

Кто-то сзади меня начал спускаться по лестнице. Кроме шарканья ног по посыпанным песком ступеням, я слышала еще какой-то тупой стук. Я обернулась: спускался городской, стучала его шашка. Увидев мое лицо, он вдруг изменил чинное выражение своей физиономии на грубое и дерзкое, подошел ко мне и дернул за плечо:

– Убирайся вон отсюда, дрянь ты этакая. Шляетесь везде! Сунешься сдуру в прорубь, потом отвечай за вас, за шельмов!

Он узнал по моему лицу, кто я.

IV

Все то же и то же... Нет возможности ни минуты остаться одной, чтобы не схватила за душу тоска. Что сделать с собою, чтобы забыть?

Аннушка принесла мне письмо. Откуда оно? Я так давно не получала ни от кого писем.

«Милостивая государыня, Надежда Николаевна! Хотя я очень хорошо понял, что для вас не составляю ничего, но все-таки полагаю, что вы добрая девушка и не захотите обидеть меня. В первый и последний в жизни раз я прошу вас быть у меня, так как сегодня мои именины. Родных и знакомых у меня нет. Умоляю вас, приходите. Даю вам слово, что я ничего не скажу вам

обидного или неприятного. Пожалейте преданного вам
Ивана Никитина.

P.S. О своем недавнем поведении в квартире вашей не могу вспомнить без стыда. Будьте же у меня сегодня в 6 часов. Прилагаю адрес. *И. Н.*».

Что это значит? Он решился написать ко мне. Тут что-нибудь не совсем просто. Что он хочет сделать со мною? Идти или нет?

Странно рассуждать – идти или не идти? Если он хочет заманить меня в западню, то или для того, чтобы убить, или... но если и убьет, все же развязка.

Пойду.

Я оденусь попроще и поскромнее, смою с лица румяна и белила. Ему все-таки будет приятнее. Причешу попроще голову. Как мало у меня осталось волос! Я причесалась, надела черное шерстяное платье, черный шарфик, белый воротничок и рукавчики и подошла к зеркалу взглянуть на себя.

Я чуть не заплакала, увидя в нем женщину, совсем не похожую на ту Евгению, которая так «хорошо» пляшет скверные танцы в разных притонах. Я увидела вовсе не нахальную, нарумяненную кокетку, с улыбающимся лицом, с ухарски взбитым шиньоном, с наведенными ресницами. Эта забитая и страдающая женщина, бледная, тоскливо смотрящая большими черными глазами с темными кругами вокруг, – что-то совсем новое, вовсе не я. А может быть, это-то и есть я? А вот та Евгения, которую все видят и знают, та – что-то

чужое, насевшее на меня, давящее меня, убивающее.

И я действительно заплакала, и плакала долго и сильно. От слез легче становится, как твердили мне с самого детства; только, должно быть, это справедливо не для всех. Не легче мне стало, а еще хуже. Каждое рыдание болью отзывалось, каждая слеза горька. Тех, кому есть еще какая-нибудь надежда на исцеление и мир, тех слезы, быть может, и облегчают. А где она у меня?

Я вытерла слезы и отправилась.

* * *

Я без труда нашла номера мадам Цукерберг, и чухонка-горничная показала мне дверь к Ивану Ивановичу.

– Можно войти?

В комнате раздался стук быстро задвигаемого ящика.

– Войдите! – быстро закричал Иван Иванович.

Я вошла. Он сидел у письменного стола и заклеивал какой-то конверт. Мне он даже как будто и не обрадовался.

– Здравствуйте, Иван Иванович, – сказала я.

– Здравствуйте, Надежда Николаевна, – ответил он, вставая и протягивая мне руку.

Что-то нежное мелькнуло у него на лице, когда я протянула ему свою, но тотчас же и исчезло. Он был серьезен и даже суров.

– Благодарю вас, что пришли.

– Зачем вы звали меня? – спросила я.

– Боже мой, неужели вы не знаете, что значит для меня видеть вас! Впрочем, этот разговор для вас неприятен...

Мы сидели и молчали. Чухонка принесла самовар. Иван Иванович подал мне чай и сахар. Потом поставил на стол варенье, печенье, конфеты, полбутылки сладкого вина.

– Вы извините меня за угощение, Надежда Николаевна. Вам, быть может, неприятно, но не сердитесь. Будьте добры, заварите чай, налейте. Кушайте: вот конфеты, вино.

Я стала хозяйничать, а он сел против меня так, что его лицо оставалось в тени, и принялся рассматривать меня. Я чувствовала на себе его постоянный и пристальный взгляд и чувствовала, что краснею.

Я на минуту подняла глаза, но сейчас же опять опустила, потому что он продолжал серьезно смотреть мне прямо в лицо. Что это значит? Неужели эта обстановка, скромное, черное платье, отсутствие нахальных лиц, пошлых речей подействовали на меня так сильно, что я опять превратилась в скромную и конфузливую девочку, какой была два года тому назад? Мне стало досадно.

– Скажите, пожалуйста, что вы выпучили на меня глаза?... – выговорила я с усилием, но бойко.

Иван Иванович вскочил и заходил по комнате.

– Надежда Николаевна! Не говорите так грубо. Побудьте хоть час такую, как вы сюда пришли.

– Но я не понимаю, зачем вы меня позвали. Неужели толь-

ко затем, чтобы молчать и смотреть на меня?

– Да, Надежда Николаевна, только за этим. Вам ведь это особого огорчения не сделает, а мне утешение – в последний раз на вас посмотреть. Вы были так добры, что пришли, и в этом платье, такую, как теперь. Я этого не ждал и за это вам еще больше благодарен.

– Но отчего же в последний раз, Иван Иванович?

– Я ведь уезжаю.

– Куда?

– Далеко, Надежда Николаевна. Я вовсе сегодня не именинник. Я так это, не знаю сам почему, написал. А мне просто хотелось еще раз на вас посмотреть. Хотел я сначала пойти и ждать, когда вы выйдете, да уж как-то решился просить вас к себе. И вы были так добры, что пришли. Дай вам Бог за это всего хорошего.

– Мало хорошего впереди, Иван Иванович.

– Да, для вас мало хорошего. Впрочем, ведь вы сами знаете лучше меня, что для вас впереди... – Голос Ивана Ивановича задрожал. – Мне лучше, – прибавил он, – потому что я уеду.

И его голос задрожал еще более.

Мне стало невыразимо жалко его. Справедливо ли все то дурное, что я чувствовала против него? За что я так грубо и резко оттолкнула его? Но теперь уже поздно сожалеть.

Я встала и начала одеваться. Иван Иванович вскочил как ужаленный.

– Вы уже уходите? – взволнованным голосом спросил он.

– Да, надо идти...

– Вам надо... Опять туда! Надежда Николаевна! Да давайте, я лучше убью вас сейчас!

Он говорил это шепотом, схватив меня за руку и смотря на меня большими, растерянными глазами.

– Ведь лучше? Скажите!

– Да ведь вам, Иван Иванович, за это в Сибирь идти. Я вовсе не хочу этого.

– В Сибирь!.. Разве я оттого не могу убить вас, что Сибирь боюсь? Я не оттого... Я не могу вас убить потому, что... да как же я убью вас? Да как же я убью тебя? – задыхаясь, выговорил он. – Ведь я...

И он схватил меня, поднял, как ребенка, на воздух, душа в объятиях и осыпая поцелуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И так же внезапно, как внезапно это случилось, поставил меня на ноги и быстро заговорил:

– Ну, идите, идите... Простите меня, но ведь это в первый и последний раз. Не сердитесь на меня. Идите, Надежда Николаевна.

– Я не сержусь, Иван Иванович...

– Идите, идите! Благодарю, что пришли.

Он выпроводил меня и тотчас же заперся на ключ. Я стала спускаться с лестницы. Сердце ныло еще больше прежнего.

Пусть он едет и забудет меня. Останусь доживать свой век. Довольно сентиментальничать. Пойду домой.

Я прибавила шага и думала уже о том, какое платье надену и куда отправлюсь на сегодняшний вечер. Вот в кончен мой роман, маленькая задержка на скользком пути! Теперь покачусь свободно, без задержек, все ниже и ниже.

«*Да ведь он теперь стреляется!*» – вдруг закричало что-то у меня внутри. Я остановилась как вкопанная; в глазах у меня потемнело, по спине побежали мурашки, дыхание захватило... Да, он теперь убивает себя! Он захлопнул ящик – это он револьвер рассматривал. Письмо писал... В последний раз... Бежать! Быть может, еще успею. Господи, удержи его! Господи, оставь его мне!

Смертельный, неиспытанный ужас охватил меня. Я бежала назад, как безумная, налетая на прохожих. Не помню, как я взбежала по лестнице. Помню только глупое лицо чухонки, впустившей меня, помню длинный темный коридор со множеством дверей, помню, как я кинулась к его двери. И когда я схватилась за ее ручку, за дверью раздался выстрел. Отовсюду выскочили люди, бешено завертелись вокруг меня, вместе с коридором, дверьми, стенами. И я упала... и в моей голове тоже все завертелось и исчезло.

1878 г.

Трус

Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится – предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: «Потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных – это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кричать о себе всю Россию, а на аванпостные дела с «незначительными» по-

терями тоже в несколько десятков человек никто не обращает внимания?

Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне:

– Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты и вам самим придется стрелять в людей.

– Меня, Василий Петрович, не заберут: я зачислен в ополчение.

– Да если война затянется, тронут и ополчение. Не храбриться, придет и ваш черед.

У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронут и ополчение – тут нет ничего невозможного. «Если война затянется»... да она наверно затянется. Если не протянется долго эта война, все равно, начнется другая. Отчего ж и не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война – только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро.

Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два на-

чать иную работу, труд любви и правды; я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла, – я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы – свободы располагать своим телом.

* * *

Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны.

– Относитесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет, – говорит он. – Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает, она не дает мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?

– Неужели?

– Третьего дня решила, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал; спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. «После, говорит, доучусь, если жива буду». Ничего, пусть едет сестренка, добродуному научится.

– А что ж Кузьма Фомич?

– Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! – Василий Петрович покрутил головой. – Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!

– Мне кажется, Василий Петрович, что нехорошо, что он живет с вами.

– Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя – отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, уберите из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.

– Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!

Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузь-

ма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.

* * *

Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок... Двенадцать тысяч... Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составит дорога в восемь верст... Что же это такое?

Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли... я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.

* * *

Трус я или нет?

Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?

Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, – правда, немногие, – в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня...

* * *

Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв – валяющиеся ряды людей; перо кажется оружием, нано-

сящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.

– Что с тобой? – спросил я его.

Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.

– У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, – сказала Марья Петровна. – Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.

– Доктор сейчас приедет; я заходил к нему, – сказал Василий Петрович.

– Очень нужно было, – процедил сквозь зубы Кузьма.

– Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?

– Чем бы ни кончилось, все равно, – пробормотал Кузьма.

– Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, – тихо сказала Марья Петровна.

Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее

рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрела на Кузьму.

Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменялось на озабоченное.

– Пойдемте, пойдемте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас.

Я пошел за ним в комнату Кузьмы. Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

– Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? – спросил доктор.

– Есть, я думаю, – ответил Кузьма недоумевающим тоном.

– Я попросил бы их, – сказал доктор, любезно обращаясь ко мне, – с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной.

Он вышел из комнаты; Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.

– Доктор приказал дежурить около Кузьмы.

– Разве в самом деле есть опасность? – тревожно спросила Марья Петровна.

– Вероятно, есть; иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?

– Ах, конечно нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему; ему ведь очень скучно лежать одному.

Кузьма встретил нас, улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль.

– Вот спасибо, – сказал он, – а я думал уж, что вы меня забыли.

– Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, – улыбаясь, сказала Марья Петровна.

– И вы будете? – робко спросил Кузьма.

– Буду, буду, только слушайте меня.

Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.

– Ах, да, – сказал он вдруг, обращаясь ко мне, – дай мне, пожалуйста, зеркало: вон на столе лежит.

Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.

* * *

Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражен.

Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня «пристроили» бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо», – говорит мне внутренний голос.

* * *

Случилось то, чего я никак не ожидал.

Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.

– Что такое, Марья Петровна, что с вами?

– Тише, тише, пожалуйста, – зашептала она. – Знаете, ведь все кончено.

– Что кончено? Не умер же он?

– Нет, еще не умер... только надежды никакой. Оба доктора... мы ведь другого позвали...

Она не могла говорить от слез.

– Подите, посмотрите... Пойдемте к нему.

– Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите.

– Все равно... Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало; ведь сам скоро был бы доктором.

Тяжелый запах анатомического театра наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно.

– Что с ним? – спросил я шепотом.

– Пусть он сам... Оставайтесь с ним, я не могу.

Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате; только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его; не то чтобы его черты слишком переменились – нет; но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем (хотя особенной дружбы между нами

не существовало), но никогда мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. «Неужели он в самом деле так опасен? – думал я. – Не может быть; не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо».

Он открыл глаза и увидел меня. Не переменяя выражения лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова:

– Здравствуй... Вот видишь, каков я... Конец наступил. Подкрался так неожиданно... глупо...

– Скажи мне наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть, вовсе и не так дурно.

– Не дурно, ты говоришь? Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри!

Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от шеи, на правой стороне, на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена.



Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марьей Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы, вдвоем или втроем, приступаем к постели Кузьмы, поворачиваем и приподымаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттаперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, «потому что, — объясняет он, — щекотно». Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, «бразды правления», то есть гуттаперчевую трубку, и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения и вся постель бывает облита водою.

Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недостижимым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно

ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость, как должное, и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью.

Иногда он очень страдает. Рана его горит, лихорадка трясет его.. . Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди – и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают вперед, ворочают назад и кладут на полях грудями мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел.

Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа.

* * *

Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо.

– Вставайте, вставайте! – говорила Марья Петровна.

Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

– Пятна, новые пятна! – разобрал я наконец.

– Какие пятна, где пятна?

– Ах боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались. Я уже послала за доктором.

– Да, может быть, и пустое, – сказал я с равнодушием только что разбуженного человека.

– Какое пустое, посмотрите сами!

Кузьма спал, раскинувшись, тяжелым и беспокойным сном; он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Это гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хотя я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть.

Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени, и молча смотрела на меня отчаянными глазами.

– Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна. Придет доктор, посмотрит; может быть, еще не все кончено. Может быть, еще выручим его.

– Нет, не выручим, умрет, – шептала она.

– Ну, не выручим, умрет, – отвечал я ей так же тихо. – Для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи.

– Знаете ли вы, какую муку я испытываю в эти дни? И сама не могу объяснить себе, отчего это. Я ведь не любила

его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня, а умрет он – сердце у меня разорвется. Все мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что люби я его – жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет: виновата, виновата, виновата...

Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Марья Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветило солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь и страх смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Марья Петровна смотрела на него несколько мгновений как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклонясь над бедным полутрупом, она поцеловала его.

Тогда он открыл глаза.

– Боже мой, как не хочется умирать! – проговорил он.

И в комнате вдруг раздались странные тихие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим.

Я ушел из комнаты. Я сам чуть было не разревелся.

Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты – а там? Кузьма, вместе с страхом смерти и физическими страданиями, испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то! Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих, или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют, или наедут пушки и раздавят, как червяка...

* * *

– Я вам скажу откровенно, – говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, – что в подобных случаях, при госпитальном лечении, умирают девяносто девять из ста.

Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь.

– Всякий больной желает выздороветь, доктор.

– Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства, – сказал доктор с улыбочкой. – Итак,

сегодня вечером мы сделаем операцию – прорежем ему новое отверстие, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться.

Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами.

– Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию? – обратился он к Львову.

Львов кивнул головою, засучил рукава и с серьезно-мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и защелкал зубами от боли.

– Ну, не бабничай, – угрюмо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку.

– Очень больно? – ласково спросила Марья Петровна.

– Не так больно, голубушка, а ослабел я, измучился.

Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился.

Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марьей Петровной стали приводить комнату в порядок.

– Поправьте одеяло, – проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. – Дует.

Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося лучше подсунуть одеяло. Я

старался сделать это как можно лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги.

– Неумелый ты какой, – тихо брюзжал он, – опять в спину дует. Пусть она.

Он взглянул на Марию Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему.

Марья Петровна поставила склянку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели.

– Поправить?

– Поправьте... Вот хорошо... тепло!..

Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски-счастливым выражением на измученном лице заснул.

– Вы пойдете домой? – спросила Марья Петровна.

– Нет, я выспался отлично и могу сидеть; а впрочем, если я не нужен, то уйду.

– Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти так горько, так тяжело!

– Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.

– Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком.

– А вы все-таки едете?

– Еду, конечно. Выздоровеет он или умрет – все равно поеду. Я уже сжилась с этой мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях.

– Ах, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне.

– Отчего? Работать буду – вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется.

– Принять участие! Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это?

– Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну? Только... как бы это вам рассказать? Война – зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все равно, она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть *общее* горе, *общее* страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится.

Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам *чувствовал* то, что она чувствует и думает, только *думал* иначе.

– Вот вы, кажется, всё думаете, как бы постараться остаться здесь, – продолжала она, – если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.

– Что же делать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?

– Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петербурге – живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать – может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет.

Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

* * *

Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения... ружейным приемам. У меня и теперь раздается в ушах:

– Смирно!.. Ряды вздво-ой! Слушай, на кра-аул!

И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядов, меня назначат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых...

Ну, да это все равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно...

Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они, до распределения по полкам, в огромном сарае, бывшем манеже: его разделили полатями на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться, как знают. На проходе, идущем посередине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков: настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы, в новых свитках и смушковых шапках, лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек десять.

– Здравствуйте, братцы.

– Здравствуйте.

– Давно из дому?

– Та вже дві неділі. А вы яки-таки будете? – спросил меня один из них.

Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились.

– Скучно? – спросил я.

– Так як же не скучно! Дуже моторно. Коли б ще годували, а то така страва, що и боже мій!

– Куда ж вас теперь?

– А хто ёго зна! Кажуть, пид турку...

– А хочется на войну?

– Чого я там не бачив?

Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов и вскоре после которой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе, «сто чортив ему конних у горло», о том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур... Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарях, о деле, за которое шел умирать.

Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:

– Этого самого турку бить следует.

– Следует? – спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.

– Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смиренно... был бы я теперь дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будь-

те спокойны, верно я говорю. Папиросочку пожалуйста, барин! – вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку.

Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время, свободное от службы.

«Он бунтует, а нам огорчение», – звенел у меня в ушах пьяный голос. Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь.

* * *

У Львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рана его и очистилась: страшный жар, бред, стоны. Брат и сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и ученьями. Теперь, когда они знают, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее.

– В форме уже! – проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами. – Эх вы, люди, люди...

– Что же мы за люди, Василий Петрович?

– Заниматься вы мне не даете – вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну; и так многого узнать не придется; а тут еще вы с Кузьмой.

– Ну, положим, Кузьма умирает, а я-то что?

– Да вы разве не умираете? Не убьют вас – с ума сойдете или пулю в лоб пустите. Разве я не знаю вас, и разве не было

примеров?

– Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович!

– Отстаньте вы, очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам. И я ничего не знаю, это я так сказал.

Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой «пример».

– Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал. Вышли они только что из Кишинева, в апреле, тотчас после объявления войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут; прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная: на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали. Дождь хлещет, на теле ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет-тянет человек и упадет лицом в грязь без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! «Что тут было, – офицер мой говорит, – вспомнить страшно!» Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. «Не могу, говорит, я вынести этого зрелища; уеду вперед». Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и наконец сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит... Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где ж вам самые-то муки одолеть?..

– Василий Петрович, да не легче ли самому муки нести, чем казниться, как этот доктор?

– Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запрягут.

– Совесть мучить не будет, Василий Петрович.

– Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите: она насчет этих тонкостей дока. «Анну Каренину» ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить, все может; а уж эта штука в каком-нибудь романе, наверно, разобрана. Прощайте, философ!

Он добродушно рассмеялся своей шутке и протянул мне руку.

– Вы куда?

– На Выборгскую, в клинику.

Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его.

– Тебя здесь оставят или ушлют в армию? – спросил он.

– Отправят; разве ты не знаешь?

Он молчал.

– Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю... Что ж, поезжай. Нужно.

– И ты, Кузьма Фомич!

– Что «и я»? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай! Нужнее тебя есть люди, ра-

ботящее тебя, и те идут... Поправь мне подушку... вот так.

Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь.

– Все это верно, Кузя, да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров: устроить это нетрудно. Я не делаю этого; меня требуют, и я иду. Но пусть по крайней мере мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение.

Кузьма лежал, неподвижно устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову.

– Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее, – проговорил он. – Я измучен и раздражен и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив; должно быть, скоро помирать пора.

– Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает, все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует.

Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад: «Нет, не выздоровеет, умрет».

– А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было! – слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. – Тебя ушлют драться, и мы с Марьей Петровной поедem: она милосердной сестрицей, а я врачом. И буду я около тебя, раненого, возиться, как ты теперь около меня.

– Будет болтать, Кузьма Фомич, – сказала Марья Петровна, – вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение.

Он отдался в наше распоряжение; мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестящую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, я думал о других ранах, гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей.

* * *

Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер – все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло...

* * *

Вот наконец и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома; и я сижу в своей комнате один, в последний раз! В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытывавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончать ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты,

...ты палец от ноги?..

* * *

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть; завтра нужно встать очень рано.

* * *

Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы – лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, набитом людьми, я ощутил такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтоб хоть несколько минут провести с кем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома... Может быть, кто-нибудь не утерпит и приедет... Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел; никто не станет рассчитывать на опоздание. А все-таки, может быть... И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго.

Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня

вздрыгнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу.

Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы: «Кузьма умер».

* * *

На этой фразе кончаются заметки в записной книжке.

Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его, на них белые, же, заиндевевшие деревья. Небо пасмурно, низко; в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов; дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда взглядишься в нее пристальнее, то видишь, что она состоит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма, несущегося с нее, и хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше.

Батальон резерва, лежавший в снегу, не составив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.

– Пошли, братцы, пошли... Эх, не дойдут!

– И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли.

– Жизнь тебе надоела, что ли? – угрюмо сказал пожилой солдат из «билетных». – Лежи, коли положили, да благодари Бога, что цел.

– Да я, дяденька, цел буду, не сомневайтесь, – отвечал молодой солдат с веселым лицом. – Я в четырех делах был, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потом – ни боже мой! Вот барину нашему впервой, так он небось у Бога прощенья просит. Барин, а барин?

– Чего тебе? – отозвался худощавый солдат с черной бородкой, лежавший возле.

– Вы, барин, смотрите веселее!

– Да я, голубчик, и так не скучаю.

– Вы меня держитесь, ежели что. Уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит. А то был такой до вас вольноопределяющий, так тот, как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он и сумки и ружье: побёг, а пуля ему вдогонку, да в спину. Так нельзя, потому – присяга.

– Не бойся, не побегу... – тихо отвечал «барин». – От пули не убежишь.

– Известно, где от ей убежать! Она шельма... Батюшки-светы! Никак наши-то стали!

Черная масса остановилась и задымилась выстрелами.

– Ну, палить стали, сейчас назад... Нет, вперед пошли. Выручай, Мать Пресвятая Богородица! Ну-ка еще, ну, ну...

Эка раненых-то валится, Господи! И не подбирают.

– Пуля! Пуля! – раздался вокруг говор.

В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился.

– Носилки! – закричал кто-то.

Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась атака, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого, как снег.

– В нас, подлец, метит! – закричал веселый солдат.

Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрел.

Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что «барин» лежит рядом с ним ничком, раскинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие.

1879 г.

Встреча

На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход («вероятно, английский», – подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не выдавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и пере-

бивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.

– Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!

– Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват!

– Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать... – принужденно-чинным молодым голоском заговорила девушка.

Конца Василий Петрович не дослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха.

«Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать», – подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. «Да, придется работать на этом скромном поприще, – думал он, вновь сядя на скамью лицом к морю. – Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороку, брат Василий Петрович, на все эти затеи; попробуй-ка здесь поработать!»

И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать «искру Божию» в мальчиках; как будет поддерживать натуры, «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы»; как под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, «чуждые житейской грязи»; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечатель-

ные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них – профессор такого-то университета, известный «у нас и в Европе», другой – писатель, знаменитый романист, третий – общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. «Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович», – говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...

Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. «Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою, – подумал он. – Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти...» Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательные письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адреса. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были

завернуты, но прочесть адреса ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты. «О моя Лиза!» – проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.

Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце хорошие семена.

Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестяла, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.

Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с навернутым на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со ска-

мейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:

– Позвольте закурить.

– Сделайте одолжение, – ответил Василий Петрович.

Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.

– Николай, друг мой! Ты ли это?

– Василий Петрович?

– Он самый... Ах, как я рад! Вот не думал, не гадал, – говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лобзая его. – Какими судьбами?

– Очень просто, на службе. А ты как?

– Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.

– Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.

– Поедем, поедем, – согласился Василий Петрович. – Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню, – и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! – закричал он.

– Не нужно, не кричи. Сергей, давай! – громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.

К тротуару подкатила щегольская коляска; хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.

– Кудряшов, эти лошади – твои?

– Мои, мои! Что, не ожидал?

– Удивительно... Ты ли это?

– Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить.

Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатила, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. «Что за притча! – думал он. – Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь – коляска!» Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.

– Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину, – сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.

Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина.

– Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо, – сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином. – Неужели собственная?

– Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

– Полторы! – протянул Василий Петрович.

– Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.

– Дрянь! – воскликнул в изумлении Василий Петрович.

– Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...

Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая «под дуб» с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, на-

сколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заключенных один в другой, и множества других ненужных вещей.

Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разною бронзовою и фарфоровою мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.

– Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища, – сказал он.

– Я тоже... Знаешь ли, приехал, как в пустыню, и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константиныч, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...

– О чем это?

– Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отноше-

нии. Помнишь...

– Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или как там ее; знаю только, что полтинник штука.

Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:

– Николай Константиныч, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет – и у тебя такое место.

– Что место! Место, брат, плюнь да отойди.

– Как же это? Да ты сколько получаешь?

– Каких? Жалованья?

– Ну да, содержания.

– Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов второй, – тысячу шестьсот рублей в год.

У Василия Петровича вытянулось лицо.

– Как же это? Откуда это все?

– Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.

И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.

– Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?

– Вижу, – ответил Василий Петрович, – что же дальше?

– Знаешь ли, что это?

– Нет, не знаю.

Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Си-

няя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.

– Что это такое? Чертежи?

– Чертежи-то чертежи, но чего?

– Право, друг мой, не знаю.

– Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол?

– Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка.

Мол – это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...

– Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?

– Как же, конечно! Необыкновенная картина! Но построек я не заметил.

– Мудрено и заметить, – сказал Кудряшов со смехом. – Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.

– Где же это?

– Да вот у меня и у прочих строителей: у Кноблоха, Пуйциковского и у прочих. Это – между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.

– Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое слу-

жило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...

– Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: «нечестные средства»? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдаётся мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты это оставь; прежде всего, это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь – нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.

– Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.

– Это ты можешь; можешь душою болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: «какая я, однако, телятина»; так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

– Тебе все равно.

– Ну, например?

– Ну, тысячи три заработаю с частными уроками.

– Вот видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам! А я сижу себе да посматриваю: хочу – делаю, хочу – нет; если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они – «вещь для нас пустая».

В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф возвышался розовой горой. Банки с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками. Целый ряд бутылок воздвигался на столе. Приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкою; он совершенно углубился в свое занятие.

Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок – краденый, – думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино. – А сам что я делаю, как не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну, так что ж?» И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. «Ну что ж, буду наблюдать», – мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он

и сам перед собой сконфузился. «Для чего мне наблюдать, писатель я, что ли?»

– Этакого мяса, – начал Кудряшов, – ты обрати внимание, не достанешь в целом городе.

И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблоха, как его поразил своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал.

– Ты попал как раз кстати, – сказал он в заключение рассказа о мясе. – Едал ли ты что-нибудь подобное?

– Действительно, ростбиф отличный, – ответил Василий Петрович.

– Превосходный, братец! Я люблю, чтобы все было как следует. Да что ты не пьешь? Постой, вот я тебе налью вина.

Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовал и английский шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кноблох, и таможня. Рассказывая о вине, Кудряшов попивал его и, по мере того как пил, оживлялся. На щеках его вялого лица обозначались румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее.

– Да что ж ты молчишь? – наконец спросил он Василия Петровича, который действительно упорно молчал, выслушивая эпопеи о мясе, вине, сыре и прочих благодатях, украшавших собою стол инженера.

– Так, брат, не говорится что-то.

– Не говорится... вот вздор! Ты, я вижу, все еще киснешь

по поводу моего признания. Жалею, очень жалею, что сказал; с большим бы удовольствием поужинали, если б не этот проклятый мол... Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович, брось... А? Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.

– Пожалуйста, не делай обо мне предположений, – сказал Василий Петрович.

– Обиделся?.. Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами, и не убеждаешься ли каждый день в том, что несогласны? Ведь правда, а? Выпей вина, хорошее вино.

Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил.

– Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове теперь мысль сидит? Доподлинно знаю. «Зачем, думаешь ты, я у этого человека сижу? Очень он мне нужен! Разве не могу я обойтись без его вина и сигар?» Поймай, поймай, дай договорить! Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Вовсе нет; если бы ты и очень захотел их, так не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство – вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в твоей голове расположе-

ны под разными рубриками убеждения, и, подогнанный под них, я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь. Убеждения – убеждениями, а я сам по себе товарищ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты знаешь, что я не способен никого обидеть...

– Постой, Кудряшов. Откуда у тебя все это? – Василий Петрович обвел рукой. – Сам говоришь, чужое: ну, тот и обижен, у кого похищено.

– Легко сказать: у кого похищено. Я вот думаю, думаю, кого я обидел, – и все не могу понять, кого. Ты не знаешь, как это дело делается; я расскажу тебе, и ты, может быть, согласишься со мною, что найти обиженного не так-то легко.

Кудряшов позвонил. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке.

– Иван Павлыч, принеси мне из кабинета чертеж. Между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, дело-то какое грандиозное: право, я даже поэзию в нем нынче находить стал.

Иван Павлыч бережно принес огромный лист, наклеенный на коленкор. Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложил чертеж на забрызганной красным вином скатерти.

– Посмотри сюда, – сказал он. – Вот тебе поперечный разрез нашего мола, вот его продольный разрез. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика,

что начинать кладку со дна нельзя; поэтому мы приготовляем для мола прежде всего постель.

– Постель? – спросил Василий Петрович. – Странное название.

– Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше одного кубического фута объемом. – Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. – Смотри, Василий Петрович, – это сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажен ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь иметь некоторое представление о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз, а смеряешь – приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень... Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиною в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу поднимать-

ся и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь могущество человека... Видишь, вот они, эти кубики. – Он показал, циркулем. – Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня. Так вот какое это дело; оно не уступит любой египетской пирамиде. Вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет, а сколько времени еще протянется – бог знает. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочем, если она будет идти так, как последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит.

– Ну, что ж дальше? – спросил Василий Петрович после долгого молчания.

– Дальше? Ну, а мы сидим на своих местах и получаем, сколько следует.

– Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получить.

– Молод ты, вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники; только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем: тебе известно, что во всяком море бывают бури? Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую.

– Все же я не вижу возможности...

– Кладем мы ее, – спокойно продолжал Кудряшов, – на бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже буря ее и размывает.

Василий Петрович весь превратился в недоумение.

– Потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море не океан, да и там такие молы, как наш, выдерживают; а у нас на двух с лишним саженях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос: сколько в этом году размыло постели? Берем чертежи и отмечаем. Ну, и пишем, куда следует: размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают: стройте, чините, черт с вами! Ну, мы и чиним.

– Да что ж вы чините-то?

– Да карманы себе чиним, – сострил Кудряшов и сам рассмеялся своей остроте.

– Нет, это невозможно! невозможно! – закричал Василий Петрович, вскакивая со стула и бегая по комнате. – Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя... Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что вас всех поймают на этом, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь. Боже, боже, вот они, надежды, упования! Способный и честный юноша – и вдруг...

Василий Петрович вошел в экстаз и говорил долго и горячо. Но Кудряшов совершенно спокойно курил сигару и поглядывал на расходившегося друга.

– Да, ты, наверно, пойдешь по Владимирке! – закончил

Василий Петрович свою филиппику.

– До Владимирки, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю: ничего-то ты не понимаешь. Разве я один. . . как бы это повежливее сказать. . . приобретаю? Все вокруг, самый воздух – и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж? Прикрыли. . . И всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто ж решится меня тронуть, когда через это самое может пошатнуться?

– Стало быть, как сказал Крылов, рыльце-то у всех в пушку?

– В пушку, в пушку. Все берут с жизни, что могут, а не относятся к ней платонически. . . О чем, бишь, мы начали говорить? Да, о том, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братию, что ли? Ну, чем? Ведь я черпаю не прямо из источника, а беру готовое, что уж взято, и если не достанется мне, то, может быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мере, я не по-свински живу, есть кое-какие и духовные интересы: выписываю кучу газет, журналов. Кричат о науке, о цивилизации, а к чему бы эта цивилизация прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы давал науке возможность двигаться вперед, как не люди со средствами? А их нужно откуда-нибудь взять. Так называемыми честными путями. . .

– Ах, не доканчивай, не говори ты хоть последнего слова, Николай Константиныч!

– Слова? Что ж, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я стал врать, оправдываться? Ворую, слышишь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруюешь.

– Послушай, Кудряшов...

– Нечего мне тебя слушать, – сказал со смехом Кудряшов. – Ты таки, брат, грабитель, под личиною добродетели. Ну, что это за занятие твое – учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такие же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазней. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня? А тоже храбрится, честность проповедует!

– Кудряшов! Поверь, что мне чрезвычайно тяжел этот разговор.

– А мне – нисколько.

– Я не ожидал встретить в тебе то, что встретил.

– Немудрено; люди изменяются, и я изменился, а в какую сторону – ты угадать не мог: не пророк ведь.

– Не нужно быть пророком, чтобы надеяться, что честный юноша делается честным гражданином.

– Ах, оставь, не говори ты мне этого слова. Честный гражданин! И откуда, из какого учебника ты эту архивность вытащил? Пора бы перестать сентиментальничать: не мальчик ведь... Знаешь что, Вася, – при этом Кудряшов взял Василия

Петровича за руку, – будь другом, бросим этот проклятый вопрос. Лучше выпьем по-товарищески. Иван Павлыч! Дай, брат, бутылочку вот этого.

Иван Павлыч немедленно явился с новой бутылкой. Кудряшов налил стаканы.

– Ну, выпьем за процветание... чего бы это? Ну, все равно: за наше с тобой процветание.

– Пью, – сказал Василий Петрович с чувством, – за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнейшее желание.

– Будь друг, не поминай... Ведь если опомниться, так уж пить будет нельзя: тогда зубы на полку. Видишь, какая у тебя логика. Будем пить просто, без всяких пожеланий. Бросим эту скучную канитель; все равно ни до чего не договоримся: ты меня на путь истинный не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоит переспаривать: собственным умом до моей философии дойдешь.

– Никогда! – с жаром воскликнул Василий Петрович, стукнув стаканом об стол.

– Ну, это посмотрим. Да что это все я про себя рассказываю, а ты о себе молчишь? Что ты делал, что думаешь делать?

– Я говорил уже тебе, что назначен учителем.

– Это твое первое место?

– Да, первое; я занимался раньше частными уроками.

– И теперь думаешь заниматься ими?

– Если найду, отчего же.

– Доставим, брат, доставим! – Кудряшов хлопнул Василия

Петровича по плечу. – Все здешнее юношество тебе в науку отдадим. Почему ты брал за час в Петербурге?

– Мало. Очень трудно было доставать хорошие уроки. Рубль-два, не больше.

– И за такие гроши человек терзается! Ну, здесь меньше пяти и не смей спрашивать. Это работа трудная: я сам помню, как на первом и на втором курсе по урочишкам бегал. Бывало, добудешь по полтиннику за час – и рад. Самая неблагоприятная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всеми нашими; тут есть премилые семейства, и с барышнями. Будешь умно себя вести – сосватаю, если хочешь. А, Василий Петрович?

– Нет, благодарю, я не нуждаюсь.

– Сосватан уже? Правда?

Василий Петрович выразил своим видом смущение.

– По глазам вижу, что правда. Ну, брат, поздравляю. Вот как скоро! Ай да Вася! Иван Павлыч! – закричал Кудряшов.

Иван Павлыч с заспанным и сердитым лицом появился в дверях.

– Дай шампанского!

– Шампанского нету, все вышло, – мрачно отвечал лакей.

– Будет, Кудряшов, зачем же это, право!

– Молчи; я тебя не спрашиваю. Обидеть меня хочешь, что ли? Иван Павлыч, без шампанского не приходите, слышишь? Ступай!

– Да ведь заперто, Николай Константиныч.

– Не разговаривай. Деньги у тебя есть: ступай и принеси. Лакей ушел, ворча что-то себе под нос.

– Вот скотина, еще разговаривает! А ты еще: «не нужно».

Если по такому случаю не пить, то для чего и существует шампанское?.. Ну, кто такая?

– Кто?

– Ну, она, невеста... Бедна, богата, хороша?

– Ты все равно ее не знаешь, так зачем называть ее тебе?

Состояния у нее нет, а красота – вещь условная. По-моему, красива.

– Карточка есть? – спросил Кудряшов. – Поди, при сердце носишь. Покажи!

И он протянул руку.

Красное от вина лицо Василия Петровича еще более покраснело. Не зная зачем, он расстегнул сюртук, вынул свою книжку и достал драгоценную карточку. Кудряшов схватил ее и начал рассматривать.

– Ничего, брат! Ты знаешь, где раки зимуют.

– Нельзя ли без таких выражений! – резко сказал Василий Петрович. – Дай ее мне, я спрячу.

– погоди, дай насладиться. Ну, дай вам Бог совет да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. Ах ты, чудак, чудак! – воскликнул Кудряшов и расхохотался.

– Не понимаю, что ты нашел тут смешного?

– А так, братец, смешно стало. Представился мне ты через десять лет; сам в халате, подурневшая беременная жена,

семь человек детей и очень мало денег для покупки им башмаков, штанишек, шапчонок и всего прочего. Вообще, проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? Ха-ха-ха!

– Ты скажи лучше, какая поэзия ждет в будущем тебя? Получать деньги и проживать их: есть, пить да спать?

– Не есть, пить и спать, а жить. Жить с сознанием своей свободы и некоторого даже могущества.

– Могущества! Какое у тебя могущество?

– Сила в деньгах, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю... Захочу тебя купить – и куплю.

– Кудряшов!..

– Не хорохорься попусту. Неужели нам с тобою, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Конечно, тебя покупать не стану. Живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. Ах я, дурень, дурень! – вдруг вскрикнул Кудряшов, хлопнув себя по лбу. – Сидим столько времени, а я тебе главной достопримечательности-то и не показал. Ты говоришь: есть, пить и спать? Я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдем. Возьми свечу.

– Куда это? – спросил Василий Петрович.

– За мной. Увидишь, куда.

Василий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стеарин не капал на ко-

вер. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошел за Кудряшовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор и очутились в каком-то сыром и темном помещении. Шаги глухо стучали по каменному полу. Шум падающей где-то струи воды звучал бесконечным аккордом. С потолка висели сталактиты из туфа и синеватого литого стекла; целые искусственные скалы возвышались здесь и там. Масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели темные зеркала.

– Что это такое? – спросил Василий Петрович.

– Аквариум, которому я посвятил два года времени и много денег. Подожди, я сейчас освещу его.

Кудряшов скрылся за зелень, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стекол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду, но рыбы, большие и маленькие, привлеченные светлой точкой, собрались в освещенном месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись темные очертания водорослей. Какая-то гадина шевелилась в них; Василий Петрович не мог рассмотреть ее формы.

Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза, и когда он открыл их, то не узнал аквариум. Кудряшов в двух местах зажег электрические фонари: свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишашую ры-

бами и другими животными, наполненную растениями, резко выделявшимися на неопределенном фоне своими кроваво-красными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропические растения, от контраста сделавшиеся еще темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стекла, сквозь которые открывался вид на внутренность аквариума. В нем все закопошилось, заметалось, испуганное ослепительным светом: целая стая маленьких большеголовых «бычков» носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде; стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твердую преграду; черный гладкий угорь зарывался в песок аквариума и поднимал целое облако мути; смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела, и переплывала аквариум толчками, задом наперед, волоча за собой свои длинные щупала. Все вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся.

– Каково, Василий Петрович? – спросил Кудряшов, выйдя к нему.

– Чудесно, брат, удивительно! Как это ты все устроил! Сколько вкуса, эффекта!

– Прибавь еще: и знания. Нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо и, не хвастая, скажу, что мой хотя и уступает, конечно, в величине, но насчет изящества и интересности – нисколько... Это моя гордость и утешение. Как скучно

станет – придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так, как наш брат – человек. Жрет друг друга и не конфузится. Вон смотри, смотри: видишь, нагоняет.

Маленькая рыбка порывисто металась вверх, и вниз, и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол.

– Перехватили! – сказал Кудряшов. – Дура, осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок!.. Сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицы: сегодня напустишь целую тучу, а на другой день все уже съедено. Съедят – и не помышляют о безнравственности, а мы? Я только недавно отвык от этой ерунды. Василий Петрович! Неужели ты, наконец, не согласишься, что это ерунда?

– Что такое? – спросил Василий Петрович, не отрывая глаз от воды.

– Да вот эти угрызения. На что они? Угрызайся, не угрызайся – а если попадется кусок.. . Ну, я и упразднил их, угрызения эти, и стараюсь подражать этой скотине.

Он показал пальцем на аквариий.

– Вольному воля, – сказал со вздохом Василий Петрович. – Послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные?

– Морские. И вода ведь у меня морская. Нарочно водопровод устроил.

– Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег.

– Немаленьких. Аквариум мой стоит около тридцати тысяч.

– Тридцать тысяч! – воскликнул в ужасе Василий Петрович. – При тысяче шестистах рублях жалованья!

– Да брось ты это ужасанье! Если насмотрелся – пойдем. Должно быть, Иван Павлыч принес требуемое... Подожди только, я разомкну ток.

Аквариум вновь погрузился в мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым, коптящим огоньком.

Когда они вышли в столовую, Иван Павлыч держал уже наготове завернутую в салфетку бутылку.

1879 г.

Художники

I

Дедов

Сегодня я чувствую себя так, как будто бы гора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!

Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию, и теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера... Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которой я делаю это, он просто разинул рот.

– Из любви к искусству?.. Мм!.. Подавайте прошение.

И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?

Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей и от Петербурга; я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окайм-

ляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб – все показалось мне в новом свете. Все это мое, все это в моей власти, все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленной силой искусства толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя; ведь пока я – еще не бог знает какой великий художник...

Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без усталости работал веслами; он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстиками, красками и кистями всегда при мне.

– Перестань грести, посиди минутку смирно, я тебя напишу, – сказал я.

Он бросил весла.

– Ты сядь так, будто весла занозишь.

Он взялся за весла, взмахнул ими, как птица крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенным радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвет меня от них уже всю жизнь.

Яличник скоро начал уставать; его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже

утер рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада! Терпеть не могу, когда натура шевелится.

– Сиди, братец, смирнее!

Он усмехнулся.

– Чего ты смеешься?

Он конфузливо ухмыльнулся и сказал:

– Да чудно, барин!

– Чего ж тебе чудно?

– Да будто я редкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.

– Картина и будет, друг любезный.

– На что ж она вам?

– Для ученья. Вот попишу, попишу маленькие, буду и большие писать.

– Большие?

– Хоть в три сажени.

Он замолчал и потом серьезно спросил:

– Что ж, вы поэтому и образа можете?

– Могу и образа; только я пишу картины.

– Так.

Он задумался и снова спросил:

– На что ж они?

– Что такое?

– Картины эти...

Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искус-

ства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по тысяче, по две и больше. Яличник был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Эюд вышел прекрасный (очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача), и я возвратился домой совершенно счастливым.

II Рябинин

Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить «рука на галава», потому что это «ошен классишеский поза»; вокруг меня – целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех Дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тараса. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых; он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из «натуры» превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа; я – очень способный ученик академии и подаю огромные надежды сделаться одним из «наших корифеев», по счастливому выражению из-

вестного художественного критика г. В. С., который уже давно сказал, что «из Рябинина выйдет толк». Вот отчего все смотрят на мою работу.

Через пять минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем...

И так каждый день.

Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытою паропроводною трубою предстоит одно из двух: катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груды обломков, так и мне... Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колеса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное – спора нет, но что это деятельность...

Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов.

Люди ходят и удивляются: как это они, краски, так хитро расположены! И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете; многие из них я читал.

Но из Тэнов, Карьеров, Куглеров и всех, писавших об искусстве, до Прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль: если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?

Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но *как* поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например) и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: «мм... ничего себе», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это, куда идешь?

Вот уже четыре месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо

было бы... Несколько времени полного забвения: ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачем? – во время работы исчезают; в голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнение доставляет наслаждение. Картина – мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность: ты создаешь себе новую в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по-своему, независимо от жизни.

Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос: «зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне.

– Что вы не работаете, Рябинин? – громко спросил меня сосед.

Я так задумался, что вздрогнул, когда услышал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась; пола сюртука попала в краски и вся вымазалась; кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд; он был кончен, и хорошо кончен: Тарас стоял на полотне, как живой.

– Я кончил, – ответил я соседу.

Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался; все, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили.

– Медаль, медаль... Лучший этюд, – говорили некоторые. Другие молчали: художники не любят хвалить друг друга.

III Дедов

Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияния мой, сравнительно с ними, солидный возраст: во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой! Этот Вольский – отставной офицер, господин лет сорока пяти, с совершенно седою головой; поступить в таких летах в академию, снова начать учиться – разве это не подвиг? Но он упорно работает: летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением; зимою, когда светло, – постоянно пишет, а вечером рисует. В два года он сделал большие успехи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большим талантом.

Вот Рябинин – другое дело: чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники – его поклонники. Особенно мне кажется странным его при-

страстие к так называемым реальным сюжетам: пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат, как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего (по-моему, техника у него очень и очень слаба), а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной, хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Станный юноша! Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество.

Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина наверно продается; сюжет – из ходких и симпатичный: зима, закат; черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К., и как они идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно! Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает: все продается. Нужно только прямее относиться к делу: пока ты пишешь картину – ты художник, творец; написана она – ты торгаш; и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже хоро-

вит надуть нашего брата.

IV Рябинин

Я живу в Пятнадцатой линии на Среднем проспекте и четыре раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.

Я шел домой с Дедовым, пейзажистом... Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений; пишет, что видит: увидит реку – и пишет реку, увидит болото с осокою – и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото? – он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек; по крайней мере кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет: летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без усталости komponует закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение

огромных чугунных и стальных масс: частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег.

– Посмотрите, какой котлище притащили, – сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел.

– Неужели у нас не умеют их делать? – спросил я.

– Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку.

Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла.

– Дедов, ведь это все равно, что по груди бить!

– Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи: год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здорового молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле – видите, красный, узкий – так и сидеть нельзя: лежи на боку да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.

– Глухарям?

– Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо... Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали! Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания... То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники... Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон! – вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба. – Пониже, вон там, под облачком... прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так – не поверят! А ведь недурно, а?

Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба, и перебил Дедова, начавшего восхищаться еще каким-то «тонком» около другого облачка.

– Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?

– Поедемте вместе на завод; я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра! Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра.

Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него пол-

часа; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу.

V

Дедов

Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод; мы провели там целый день, осмотрели все, причем я объяснял ему всякие производства (к удивлению моему, я забыл очень немногое из своей профессии); наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над огромнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабочего-глухаря. Что за идея! Что за поэзия в грязи! Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех: по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве – чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские «Бурлаки»? Написаны они прекрасно, нет спора; но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство?

То ли дело у меня! Еще несколько дней работы, и будет кончено мое тихое «Майское утро». Чуть колыхнется вода в

пруде, ивы склонили на него свои ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все; кажется, просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это – искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский «Глухарь» ни на кого не подействует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дело! Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он напишет статейку и кстати прокатит Рябинина за его картину. И стоит.

VI

Рябинин

Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. Следовало бы сказать не *хотя*, а *тем более*, что идет успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне еще, что это – моя последняя картина.

Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на включенной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил.

Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это – не написанная картина, это – созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта «богатая область жанра» – на что мне теперь она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую...

Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. Он

сказал только: «ну, батенька», и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. Кажется, подействовало... Но ведь он все-таки – художник.

И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измененную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота... Я от него сойду с ума. Нужно его завесить.

Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую желтую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешенный холстом. Точно человеческая фигура. Точно Дух Земли в «Фаусте», как его изображают немецкие актеры.

...Wer ruft mich?⁴

Кто позвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь «сферы», а из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трэны, крикни им: я – язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...

Да, как бы не так!.. Картина кончена, вставлена в золотую

⁴ Кто зовет меня? (нем.)

раму, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди «полдней» и «закатов», рядом с «девочкой с кошкой», недалеко от какого-нибудь трехсаженного «Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова». Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований; он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря, будет кричать: но где же тут изящное, скажите, где тут изящное? И разругает меня на все корки. Публика... Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой; дамы – те только скажут: «ah, comme il est laid, ce глухарь»⁵, и проплывут к следующей картине, к «девочке с кошкой», смотря на которую, скажут: «очень, очень мило» или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопенье и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка останутся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них...

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, по-

⁵ Ах, как он уродлив, этот глухарь (фр.).

гибнет ли бесследно? Кончится ли все только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов?.. Невинные сюжеты! Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу:

– Мартынов, пиши! № 112. Первая любовная сцена: девушка срывает розу.

– Мартынов, еще пиши! № 113. Вторая любовная сцена: девушка нюхает розу.

Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов?

VII Дедов

Рябинин почти кончил своего «Глухаря» и сегодня позвал меня посмотреть. Я шел к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный. Лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высоко истинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л. совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Л-у, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться ее значения как произ-

ведения искусства, которое не терпит, чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям.

Сегодня Л. был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но в общем очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами! Неужели я не получу, наконец, того, к чему стремится каждый ученик академии, – золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счет, впереди – профессура... Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря.

VIII

Рябинин

Картина продана и увезена в Москву. Я получил за нее деньги и, по требованию товарищей, должен был устроить им увеселение в «Вене». Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угольном кабинете этой гостиницы. Кабинет этот – большая высокая комната с люстрой, с бронзовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своем веку под разгулявшимися пальцами импровизированных пианистов; одно только огромное зеркало ново, потому что оно переменяется дважды или трижды в год, всякий раз, как вместо ху-

дожников в угольном кабинете кутят купчики.

Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента из каких-то маленьких газет, несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что все были навеселе. И я тоже. Помню, что меня качали и я говорил речь. Потом целовался с рецензентом и пил с ним брудершафт. Пили, говорили и целовались много и разошлись по домам в четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлег в том же угольном номере гостиницы «Вена».

Я едва добрался домой и нераздетый бросился на постель, причем испытал что-то вроде качки на корабле: казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мною. Это продолжалось минуты две; потом я уснул.

Уснул, спал и проснулся очень поздно. Голова болит; в тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт – пустой, без картины. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот все снова, сначала... Ах боже мой, да надо же это кончить!

Голова болит больше и больше, туман наплывает на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. И я не знаю, мертвая ли тишина вокруг меня или оглушительный шум, хаос звуков, необыкновенный, страшный для уха. Может быть, это и тишина, но в ней что-то звонит и стучит, вертится и летает. Точно огромный тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слы-

шатся глухие раскаты падающей воды и удары машины. И над всем этим одна нота, бесконечная, тянущаяся, томящая. И мне хочется открыть глаза, встать, подойти к окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человеческий голос, стук дрожек, собачий лай и избавиться от этого вечного гама. Но сил нет. Я вчера был пьян. И я должен лежать и слушать, слушать без конца.

И я просыпаюсь и снова засыпаю. Снова стучит и гремит где-то резче, ближе и определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голове, или вне меня? Звонко, резко, четко... раз-два, раз-два... Бьет по металлу и еще по чему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугун гудит и дрожит. Молот сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу, а потом бьет звонче и звонче, и, наконец, как колокол, гудит огромный котел. Потом остановка, потом снова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звон. Да, это так: сначала бьют по вязкому, раскаленному железу, а потом оно застывает. И котел гудит, когда головка заклепки уже затвердела. Понял. Но те, другие звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилает мне мозг. Кажется, что так легко припомнить, так и вертится в голове, мучительно близко вертится, а что именно – не знаю. Никак не схватить... Пусть стучит, оставим это. Я знаю, но только не помню.

И шум увеличивается и уменьшается, то разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем ис-

чезая. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крикнуть. Оцепенение держит меня, и ужас охватывает меня, и я просыпаюсь весь в жару. Просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится мне, что я опять на заводе, только не на том, где был с Дедовым. Этот гораздо громаднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи чудной, невиданной формы. Снопами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные, как уголь. Машины качаются и визжат, и я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими и дрожащими ремнями; нигде ни души. Где-то стук и грохот: там-то идет работа. Там неистовый крик и неистовые удары; мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается в рев, и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые с остервенелыми лицами колотят молотами, ломami, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал названия. Я знаю, что это – все он же... Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: «перестаньте! за что?» – и вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это – мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар.

Тогда молот опустился на мой череп. Все исчезло; неко-

торое время я сознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то...

* * *

Рябинин лежал в совершенном беспамятстве до самого вечера. Наконец хозяйка-чухонка, вспомнив, что жилец сегодня не выходил из комнаты, догадалась войти к нему и, увидев бедного юношу, разметавшегося в сильнейшем жару и бормотавшего всякую чепуху, испугалась, испустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором. Доктор приехал, посмотрел, пощупал, послушал, помычал, присел к столу и, прописав рецепт, уехал, а Рябинин продолжал бредить и метаться.

IX Дедов

Бедняга Рябинин заболел после вчерашнего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежащим без памяти. Хозяйка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябина не оказалось ни копейки; не знаю, стащила ли все проклятая баба или, может быть, все осталось в «Вене». Правда, кутнули вчера порядочно; было очень весело; мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Л. Прекрасная душа этот Л. и как понимает искусство! В своей последней

статье он так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так, что-нибудь а la Клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр; не завтра ли его именины?

Однако бедному Рябину может прийтись очень плохо; его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболует с месяц, то не получит медали. Тогда – прощай заграница! Я очень рад одному, что, как пейзажист, не соперничаю с ним, а его товарищи, должно быть, таки потирают руки. И то сказать: одним местом больше.

А Рябина нельзя бросить на произвол судьбы; нужно свезти его в больницу.

X

Рябинин

Сегодня, очнувшись после многих дней беспамятства, я долго соображал, где я. Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый сверток, лежащий перед моими глазами, – мое собственное тело, обернутое одеялом. С большим трудом повернув голову направо и налево, отчего у меня зашумело в ушах, я увидел слабо освещенную длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные фигуры больных, какого-то рыцаря в медных доспехах, стояв-

шего между больших окон с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником, образ Спасителя в углу с слабо теплившейся лампадкой, две колоссальные кафельные печи. Услышал я тихое, прерывистое дыхание соседа, kloкотавшие вздохи больного, лежавшего где-то подальше, еще чье-то мирное сопенье и богатырский храп сторожа, вероятно приставленного дежурить у постели опасного больного, который, может быть, жив, а может быть, уже и умер и лежит здесь так же, как и мы, живые.

Мы, живые... «Жив», – подумал я и даже прошептал это слово. И вдруг то необыкновенно хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывал с самого детства, нахлынуло на меня вместе с сознанием, что я далек от смерти, что впереди еще целая жизнь, которую я, наверно, сумею повернуть по своему (о! наверно сумею), и я, хотя с трудом, повернулся на бок, поджал ноги, подложил ладонь под голову и заснул, точно так, как в детстве, когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер, и в трубе жалобно воет буря, и бревна дома стреляют, как из пистолета, от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь и желая разбудить мать, и она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит, и, успокоенный, свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе.

Боже мой, как я ослабел! Сегодня попробовал встать и пройти от своей кровати к кровати моего соседа напротив, какого-то студента, выздоравливающего от горячки, и едва не свалился на полдороге. Но голова поправляется скорее тела. Когда я очнулся, я почти ничего не помнил, и приходилось с трудом вспоминать даже имена близких знакомых. Теперь все вернулось, но не как прошлая действительность, а как сон. Теперь он меня не мучает, нет. Старое прошло безвозвратно.

Дедов сегодня притащил мне целый ворох газет, в которых расхваливаются мой «Глухарь» и его «Утро». Один только Л. не похвалил меня. Впрочем, теперь это все равно. Это так далеко, далеко от меня. За Дедова я очень рад; он получил большую золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив невыразимо; лицо сияет, как масляный блин. Он спросил меня: намерен ли я конкурировать в будущем году, после того как теперь мне помешала болезнь? Нужно было видеть, как он вытаращил глаза, когда я сказал ему «нет».

– Seriously?

– Совершенно серьезно, – ответил я.

– Что же вы будете делать?

– А вот посмотрю.

Он ушел от меня в совершенном недоумении.

XI Дедов

Эти две недели я прожил в тумане, волнении, нетерпении и успокоился только сейчас, сидя в вагоне Варшавской железной дороги. Я сам себе не верю: я – пенсионер академии, художник, едущий на четыре года за границу совершенствоваться в искусстве. *Vivat Academia!*

Но Рябинин, Рябинин! Сегодня я виделся с ним на улице, усаживаясь в карету, чтобы ехать на вокзал. «Поздравляю, говорит, и меня тоже поздравьте».

– С чем это?

– Сейчас только выдержал экзамен в учительскую семинарию.

В учительскую семинарию!! Художник, талант! Да он пропадет, погибнет в деревне. Ну, не сумасшедший ли это человек?

* * *

На этот раз Дедов был прав: Рябинин действительно не преуспел. Но об этом – когда-нибудь после.

1879 г.

Ночь

I

Карманные часы, лежавшие на письменном столе, торопливо и однообразно пели две нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонким ухом, а их хозяину, бледному господину, сидевшему перед этим столом, постукиваньё часов казалось целою песнею.

– Эта песня безотраднa и уныла, – говорил сам с собой бледный человек, – само время напевает ее и, как будто бы в назидание мне, напевает так удивительно однообразно. Три, четыре, десять лет тому назад часы стучали точно так же, как и теперь, и через десять лет будут стучать точно так же... совершенно так же!

И бледный человек бросил на них мутный взгляд и сейчас же отвел глаза туда, куда, ничего не видя, смотрел раньше.

– Под такт их хода прошла вся жизнь с своим кажущимся разнообразием: с горем и радостью, с отчаяньем и восторгом, с ненавистью и любовью. И только теперь, в эту ночь, когда все спит в огромном городе и в огромном доме и когда нет никаких звуков, кроме биения сердца да постукивания часов, только теперь вижу я, что все эти огорчения, радости, восторги и все случившееся в жизни – все это бестелес-

ные призраки. Одни – за которыми я гонялся, не зная зачем; другие – от которых бегал, не зная почему. Я не знал тогда, что в жизни есть только одно действительно существующее – время. Время, идущее беспощадно ровно, не останавливаясь там, где хотел бы остановиться подольше несчастный, живущий минутою человек, и не прибавляющее шага ни на йоту даже тогда, когда действительность так тяжела, что хотелось бы сделать ее прошедшим сном; время, знающее только одну песню, ту, которую я слышу теперь так мучительно отчетливо.

Он думал это, а часы все стучали и стучали, назойливо повторяя вечную песенку времени. Много напоминала ему эта песня.

– Право, странно. Я знаю, бывает, что какой-нибудь особенный запах, или предмет необыкновенной формы, или резкий мотив вызывают в памяти целую картину из давно пережитого. Я помню: умирал при мне человек; шарманщик-итальянец остановился перед раскрытым окном, и в ту самую минуту, когда больной уже сказал свои последние бессвязные слова и, закинув голову, хрипел в агонии, раздался пошлый мотив из «Марты»:

У девиц
Есть для птиц
Стрелы каленые...

И с тех пор всякий раз, когда мне случается услышать этот

мотив, – а я до сих пор слышу его иногда: пошлости долго не умирают, – перед моими глазами тотчас же является измятая подушка и на ней бледное лицо. Когда же я вижу похороны, маленькая шарманка тотчас начинает наигрывать мне на ухо:

У девиц есть для птиц...

Фу, гадость какая!.. Да, о чем, бишь, я начал думать? Вот, вот: отчего часы, к звуку которых, кажется, давно бы пора было привыкнуть, напоминают мне так много? Всю жизнь. «Помни, помни, помни...» Помню! Даже слишком хорошо помню, даже то, что лучше бы не вспоминать. От этих воспоминаний искажается лицо, кулак сжимается и бешено бьет по столу... Вот теперь удар заглушил песню часов, и одно мгновение я не слышу ее, но только одно мгновение, после которого снова раздается дерзко, назойливо и упрямо: «Помни, помни, помни...»

– О да, я помню. Мне не нужно напоминать. Вся жизнь – вот она, как на ладони. Есть чем полюбоваться!

Он крикнул это вслух надорванным голосом; ему сжимало горло. Он думал, что видел всю свою жизнь; он вспомнил ряд безобразных и мрачных картин, действующим лицом которых был сам; вспомнил всю грязь своей жизни, перевернул всю грязь своей души, не нашел в ней ни одной чистой и светлой частицы и был уверен, что, кроме грязи, в его душе ничего не осталось.

– Не только не осталось, но никогда ничего и не было, – поправился он.

Слабый, робкий голос откуда-то из далекого уголка его души сказал ему:

– Полно, не было ли?

Он не расслышал этого голоса – или, по крайней мере, сделал перед самым собою вид, что не расслышал его, и продолжал терзать себя.

– Все перебрал я в своей памяти, и кажется мне, что я прав, что остановиться не на чем, некуда поставить ногу, чтобы сделать первый шаг вперед. Куда вперед? Не знаю, но только вон из этого заколдованного круга. В прошлом нет опоры, потому что все ложь, все обман. И лгал и обманывал я сам и самого себя, не оглядываясь. Так обманывает других мошенник, притворяющийся богачом, рассказывающий о своих богатствах, которые где-то «там», «не получены», но которые есть, и занимающий деньги направо и налево. Я всю жизнь должен сам себе. Теперь настал срок расчета – и я банкрот, злостный, заведомый...

Он передумывал эти слова даже с каким-то странным наслаждением. Он как будто бы гордился ими. Он не замечал, что, называя всю свою жизнь обманом и смешивая себя с грязью, он и теперь лгал тою же, худшею в мире ложью, ложью самому себе. Потому что на самом деле он совсем не ценил себя так низко. Пусть кто-нибудь сказал бы ему даже десятую часть того, что он сам наговорил на себя в этот дол-

гий вечер, – и на его лице выступила бы краска не стыда от сознания правды упрека, а гнева. И он сумел бы ответить обидчику, задевшему его гордость, которую теперь он сам, по-видимому, так безжалостно топтал.

Сам ли он? Он дошел до такого состояния, что уже не мог сказать о себе: я сам. В его душе говорили какие-то голоса: говорили они разное, и какой из этих голосов принадлежал именно ему, его «я», он не мог понять. Первый голос его души, самый ясный, бичевал его определенными, даже красивыми фразами. Второй голос, неясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушал первый. «Не казись, – говорил он, – зачем? Лучше обманывай до конца, обмани всех. Сделай из себя для других не то, что ты есть, и будет тебе хорошо». Был еще третий голос, тот самый, что спрашивал: «полно, не было ли?», но этот голос говорил робко и едва слышно. Да он и не старался расслышать его.

– Обмани всех... Сделай из себя не то, что ты есть... Да разве я не старался делать это всю жизнь? Разве я не обманывал, разве не разыгрывал роль из фарса? И разве вышло «хорошо»? Вышло то, что даже теперь я ломаюсь, как актер, даже теперь я не то, что я на самом деле. Правда, разве я знаю, что я такое на самом деле? Я слишком запутался, чтобы знать. Но все равно, я чувствую, что ломаюсь вот уже несколько часов подряд и говорю себе жалкие слова, которым сам не верю, говорю даже теперь, перед смертью. Да неужели же перед смертью?

– Да, да, да! – прокричал он вслух, каждый раз злобно надавливая кулаком на край стола. – Нужно же, наконец, выбраться из путаницы. Узел завязан так, что не развяжешь: нужно разрубить его. Зачем только было тянуть, надрывать себе душу, и без того изорванную в отрепье? Зачем было, раз решившись, сидеть истуканом с восьми часов вечера до сих пор?

И он стал торопливо вытаскивать из бокового кармана шубы револьвер.

II

Он действительно сидел на одном месте с восьми часов вечера до трех ночи.

В семь часов вечера этого последнего дня его жизни он вышел из своей квартиры, нанял извозчика, уселся, сгорбившись, на санях и поехал на другой конец города. Там жил его старый приятель, доктор, который, как он знал, сегодня вместе с женою отправился в театр. Он знал, что не застанет дома хозяев, и ехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ними. Его, наверно, впустят в кабинет, как близкого знакомого, а это только и было нужно.

«Да, наверно, впустят, скажу, что надо написать письмо. Как бы только Дуняша не вздумала торчать при мне в кабинете...»

– Ну, дядя, поезжай скорее! – крикнул он извозчику.

Извозчик, – маленький, с сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цветным шарфом, вылезавшим из очень широкого воротника, и с изжелта-седыми кудрями, выступавшими из-под огромной круглой шапки, – чмокнул, задергал вожжами, еще раз чмокнул и торопливо заговорил разбитым голосом:

– Доставим, батюшка, не сомневайтесь, ваше благородие. Но, но!.. Ишь, баловница! Эка лошадь, прости господи! Но! – Он хлестнул ее кнутом, на что она ответила легким движением хвоста. – Я и рад угодить, да лошадку-то хозяин дал... просто такая уж... Обижаются господа, что тут будешь делать! А хозяин говорит: ты, говорит, дедушка, стар, так вот тебе и скотинка старая. Ровесники, говорит, будете. А ребята наши смеются. Рады глотки драть; им что? Известно, разве понимают?

– Не понимают? – спросил седок, в это время думавший о том, как бы не впустить Дуняшу в кабинет.

– Не понимают, ваше благородие, не понимают, где им понять! Глупые они, молодые. У нас во дворе один я старик. Разве можно старика забиждать? Я восьмой десяток на свете живу, а они зубы скалят. Двадцать три года солдатом служил. . . Известно, глупые... Ну, старая! Застыла!

Он опять хлестнул лошадь кнутом, но так как она не обратила на удар никакого внимания, то прибавил:

– Что с ей сделаешь: тоже уж двадцать первый год, должно, пошел. Ишь, хвостом трясет...

На освещенном циферблате часов, поставленных в одном из окон огромного здания, стрелки показывали половину восьмого.

«Уехали уж, должно быть, – подумал седок про доктора с женой. – А может быть, и нет еще...»

– Дедушка, не гони, пожалуй! Поезжай потише: мне торопиться некуда.

– Известно, батюшка, некуда, – обрадовался старик. – Так-то лучше, потихоньку. Но, старая!

Ехали некоторое время молча. Потом старик осмелел.

– Ты вот мне что, барин, скажи, – вдруг заговорил он, обернувшись к седоку, причем показал свое сморщенное в кулачок лицо с жиденькой седой бородкой и красными веками, – откуда этакая напасть на человека? Был извозчик у нас, Иваном звали. Молодой, годов ему двадцать пять, а то и меньше. И кто его знает, с чего, с какой такой причины, наложил на себя парень руки?

– Кто? – тихо и хрипло спросил седок.

– Да Иван-то, Иван Сидоров. В извозчиках у нас жил. Веселый был парень и работающий, прямо тебе скажу. То есть вот какой! Ну вот, в понедельник, поужинали мы, легли спать. А Иван не ужинавши лег. Голову, говорит, ломит. Спим это мы, а он ночью встал и ушел. Только что никто этого не видел. Пошли утром закладывать, а он в конюшне на гвозде. Сбрую с гвоздя снял, возле положил – веревку прицепил... Ах ты господи! Так это тогда, словно бы по серд-

цу. И что этому за причина, чтобы извозчик повесился? Как можно это, чтобы извозчику вешаться! Дивное дело!

– Отчего же? – спросил седок, откашлявшись и дрожащими руками плотнее завертываясь в шубу.

– Мыслей этих самых нет у него, у извозчика. Работа тяжелая, трудная: утром, ни свет ни заря, закладывай – да со двора. Известно, мороз, холод. Тут ему только бы в трактире погреться да выручку исправить, чтобы вполне два двадцать пять, да на квартиру – и спи. Тут думать трудно. Вот вашему брату, барину, ну, вам, известно, всякое в голову лезет с пищи с этой.

– С какой такой пищи?

– С хлебов с легких. Потому встанет барин, наденет халат, чайку попьет и давай по комнате ходить. Ходит, а грех-то вокруг. Видал я тоже, знаю. В полку было у нас, в Тенгинском, – на Кавказе служил тогда, – барин был, поручик князь Вихляев; в денщики меня к нему отдали...

– Стой, стой! – вдруг заговорил седок. – Вот сюда, к фонарю. Я тут уж пешком.

– Как угодно; пешком, так пешком. Благодарствуйте, ваше благородие.

Извозчик повернул и исчез в метели, которая разыгрывалась, а седок пошел понурою походкою вперед. Через десять минут, поднявшись в третий этаж средней руки парадной лестницы, он позвонил у двери, обитой зеленым сукном и украшенной медною, ярко отчищенной дощечкою. Беско-

нечно долго тянулись для него несколько минут, пока не отворились двери. Тупое забытье охватило его; все исчезло: и мучительное прошлое, и болтовня подвыпившего старика, так странно кстати пришедшаяся и заставившая его дойти пешком, и даже намерение, с каким он явился сюда. Перед глазами была только зеленая дверь с черными тесемками, прибитыми бронзовыми гвоздиками, да и во всем мире была только одна она.

– Ах, Алексей Петрович!

Это Дуняша отворила дверь со свечой в руках.

– А барин с барыней сейчас уехали; только-только с лестницы сошли. Как это вы не встретили?

– Уехали? Экая досада, право! – солгал он таким странным голосом, что на лице смотревшей ему в глаза Дуняши выразилось недоумение. – А мне ведь нужно было. Слушайте, Дуняша, я сейчас в кабинет к барину на одну минуту... Можно? – спросил он даже робким голосом. – Я сейчас, только записку... дело такое...

Он убедительно, с просьбой в глазах смотрел на нее, не раздеваясь и не двигаясь с места. Дуняша сконфузилась.

– Да что это вы, Алексей Петрович, разве я когда-нибудь... не в первый раз! – обиженно сказала она. – Пожалуйте.

«В самом деле, зачем все это, зачем я все это говорю? Она идет-таки за мною. Услать нужно. Куда ее ушлешь? Догадается, наверно догадается; даже уж теперь догадалась».

Дуняша ни о чем не догадывалась, хотя была до крайности удивлена странным видом и поведением гостя. Она осталась одна в целой квартире и была рада побыть хоть пять минут с живым человеком. Поставив свечу на стол, она стала у дверей.

«Уйди ты, уйди, ради бога», – мысленно взывал к ней Алексей Петрович.

Он сел к столу, взял листок бумаги и начал придумывать, что бы написать, чувствуя на себе взгляд Дуняши, который, как ему казалось, читал его мысли.

«Петр Николаевич, – писал он, останавливаясь после каждого слова, – я был у тебя по очень важному делу, которое. ...»

– Которое, которое, – шептал он, – а она все стоит и стоит. – Дуняша! Подите, принесите мне стакан воды, – вдруг громко и резко проговорил он.

– Извольте, Алексей Петрович.

Она повернулась и вышла.

Тогда гость поднялся со стула и на цыпочках быстро пошел к дивану, над которым доктор повесил револьвер и саблю, служившие ему в турецком походе. Он ловко и проворно отстегнул клапан кобуры, выхватил из нее револьвер и сунул его в боковой карман шубы, потом достал из мешочка, пришитого к кобуре, несколько патронов и тоже сунул в карман. Через три минуты стакан воды, принесенный Дуняшею, был выпит, недописанное письмо запечатано, и Алексей Петрович ехал домой. «Кончать надо, надо кончать!» – вертелось у

него в голове. Но он не стал кончать тотчас же после приезда: войдя в комнату и заперев ее на ключ, он бросился, не раздеваясь, на кресло, увидел фотографическую карточку, книгу, рисунок обоев, услышал тиликанье часов, забытых им на столе, и задумался. И просидел, не шевельнувшись ни одним мускулом, до глубокой ночи, до той минуты, когда мы его застали.

III

Револьвер долго не лез из узкого кармана; потом, когда он лежал уже на столе, оказалось, что все патроны, кроме одного, провалились в маленькую прореху. Алексей Петрович снял шубу и взял было ножик, чтобы распороть карман и вынуть патроны, но опомнился, криво усмехнулся одним концом запекшихся губ и остановился.

– Зачем трудиться? Довольно и одного.

– О да, очень довольно одного этого крохотного кусочка, чтобы исчезло все и навсегда. Весь мир исчезнет: не будет ни сожалений, ни уязвленного самолюбия, ни упрека самому себе, ни людей, ненавидящих и притворяющихся добрыми и простыми, людей, которых видишь насквозь и презираешь и перед которыми все-таки притворяешься любящим и желающим добра. Не будет обмана себя и других, будет правда, вечная правда несуществования.

Он услышал свой голос; он уже не думал, а говорил вслух.

И то, что он сказал, показалось ему отвратительным.

– Опять то же... Умираешь, убиваешь себя – и тут нельзя обойтись без разговоров. Для кого, перед кем рисуешься? Перед самим собою. Ах, довольно, довольно, довольно... – повторил он измученным, упавшим голосом и дрожащими руками старался открыть непослушный затвор револьвера.

Затвор послушался, наконец открылся; намазанный салом патрон вошел в отверстие барабана; курок взвелся будто сам собою. Ничто не могло помешать смерти: револьвер был образцовый, офицерский, дверь была заперта, и никто не мог войти.

– Ну-с, Алексей Петрович! – сказал он, крепко сжав рукоятку.

– А письмо? – вдруг мелькнуло в его голове. – Неужели умереть, не оставив ни строчки?

– Зачем, для кого? Ведь все исчезнет, ничего не будет: какое же мне дело...

– Так-то оно так. А все-таки напишу. Неужели не высказаться хоть один раз совершенно свободно, не стесняясь ничем, а главное – собою. Ведь это редкий, очень редкий случай, единственный.

Он положил револьвер, вынул из ящика тетрадку почтовой бумаги и, переменяя несколько перьев, которые не писали, а ломались и портили бумагу, и испортив несколько листов, наконец вывел: «Петербург, 28-го ноября 187*». Потом рука сама побежала по бумаге, выводя слова и фразы, кото-

рые он и сам вряд ли понимал тогда.

Он писал, что умирает спокойно, потому что жалеть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которых он любил, – если только он действительно любил кого-нибудь, а не притворялся перед самим собою, что любит, – не в состоянии удержать его жить, потому что «выдохлись». Да и не выдохлись, «нечему было выдохаться», а просто потеряли для него интерес, раз он понял их. Что он понял и себя, понял, что и в нем, кроме лжи, ничего нет и не было; что если он сделал что-нибудь в своей жизни, то не из желания добра, а из тщеславия; что он не делал злых и нечестных поступков не по неимению злых качеств, а из малодушного страха перед людьми. Что тем не менее он не считает себя хуже «вас, остающихся лгать до конца дней своих», и не просит у них прощения, а умирает с презрением к людям, не меньшим, чем к самому себе. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась в конце письма:

«Прощайте, люди! Прощайте, кровожадные, кривляющиеся обезьяны!»

Нужно было только подписать письмо. Но когда он кончил писать, он почувствовал, что ему жарко; кровь прихлынула к голове и застучала в вспотевших висках. И забыв о револьвере и о том, что, избавившись от жизни, он избавится и от жара, он встал, подошел к окну и отпер форточку. Дымящаяся морозная струя пахнула на него. Снег перестал идти, небо было чисто; на другой стороне улицы ослепитель-

но белый сад, окутанный инеем, сверкал под лунным светом. Несколько звезд смотрело из далекого чистого неба, одна из них была ярче всех и горела красноватым сиянием...

– Арктур, – прошептал Алексей Петрович. – Сколько лет я не видал этого Арктура? Еще в гимназии, когда учился...

Ему не хотелось отвести глаз от звезды. Кто-то быстро прошел по улице, сильно стуча озябшими ногами по плитам панели и ежась в холодном пальто; карета провизжала колесами по подмерзшему снегу; проехал извозчик с толстым баарином, а Алексей Петрович все стоял, как застывший.

– Нужно же! – сказал он себе наконец.

Он пошел к столу. От окна до стола было всего две сажени, но ему казалось, что он шел очень долго. Когда, подойдя, он уже взял револьвер, в открытое окно раздался далекий, но ясный, дрожащий звук колокола.

– Колокол! – сказал Алексей Петрович, удивившись, и, положив револьвер снова на стол, сел в кресло.

IV

– Колокол! – повторил он. – Зачем колокол?

– Благовестят, что ли? На молитву... Церковь... духота... Восковые свечи. Старенький поп, отец Михаил, служит жалобным, надтреснутым голосом; дьячок басит. Хочется спать. В окна едва брезжится рассвет. Отец, стоящий рядом со мной, склоня голову, делает торопливые маленькие кре-

сты; в толпе мужиков и баб сзади нас поминутные земные поклоны... Как давно это было!.. Так давно, что не верится, что это была действительность, что сам когда-то видел, а не прочитал где-нибудь или не слышал от кого-нибудь. Нет, нет, было это все, и тогда было лучше. Да и не только лучше, а хорошо было. Если бы теперь так, не нужно бы ездить за револьвером.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.